

ГРАНИ

GRANI

229

2009

Januar – März

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом
способствовать развитию свободной мысли,
свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал
произведения, которые не могли быть изданы
на родине из-за цензурных или политических
ограничений. В «Гранях» печатались
произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России
журнал будет следовать прежним принципам,
в первую очередь публикуя произведения,
помогающие восстановлению
прерванных тоталитаризмом
традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Виталий Амурский, **Франция**
Белла Ахмадулина, **Россия**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Виктор Кузнецов, **Россия**
Екатерина Труш, **США**

Москва–Париж–Берлин
Сан-Франциско

Г Р А Н И

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LXIV

№ 229

2009

СОДЕРЖАНИЕ

«Безразлично, кто от кого в бегах...» 5

Ирина БАСОВА.
Поэт и эмиграция 6

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Валентина БОТЕВА.
«...В запредельности взгляда» 13

Татьяна ЖИЛКИНА.
*Родился гением. Памяти драматурга
Александра Вампилова* 27

Александр ГОЛЕМБА.
*«Мироздание» Клейна. Сухость сентября.
Музыка. Свети-Цховели. Словолитня Ревильона.
Литературное эссе* 73

Владимир НИКОЛАЕВ.
*Тайны придворной летописи.
Документальная повесть. Начало* 84

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Владимир ЭЙСНЕР.
*Налево от Полярной звезды. Макарова Рассоха.
Сигизийный отлив* 111

Илья РУБИН.	
Страх	141

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Глеб ВАСИЛЬЕВ, Галина НИКИТИНА.	
Подаренный нам Коктебель	145

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Александр ЗОРИН.	
Где Дух Господень – там свобода	171

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вероника ЛОССКАЯ.	
О «Записных книжках» Цветаевой	186

НАСЛЕДИЕ

Сергей ЛЕВИЦКИЙ.	
Патриарх русской философии	204

АРХИВ «ГРАНЕЙ»

Елена КОТОВА.	
Как я спасла Коломенское	216

Обложка художника Н. Мишаткина

Эмблема – «Парус»
Художник И. Иогансон

*Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.*

Иосиф Бродский

Ирина Басова

Поэт и эмиграция*

*У России нашелся для Чаадаева
только один дар: нравственная свобода,
свобода выбора [...] Чаадаев принял ее
как священный посох, и пошел в Рим.*

*О.Мандельштам. Петр Чаадаев.
«Аполлон», 1915*

В девятнадцатом году молодой, чтобы не сказать юный, двадцатилетний Владимир Набоков, «счастливый отпрыск счастливой аристократической семьи», оказался в пожизненной эмиграции.

Спустя почти двадцать лет в Париже был опубликован его роман «Дар», в котором звучат пронзительные стихи, обращенные к оставленной родине:

*Благодарю тебя, отчизна,
За злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
Я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
Сама душа не разберёт,
Моё ль безумие бормочет,
Твоя ли музыка растёт...*

* Сокращенный вариант статьи, опубликованной в переводе на французский язык в журнале «Lettre internationale». Париж.

Здесь стоило бы обратить внимание на два значения слова «дар» в русском языке (впрочем, как и во французском): подарок (*don, présent*) и способность (*don, vocation*).

Вероятнее всего это второе значение имел в виду Набоков, давая название своему произведению. И именно к его первому значению мы, читатели романа, относим слово «Дар», набранное на обложке книги. Тем самым вопрос, заданный Бродским в другом контексте и совсем по другому поводу: что время делает с языком? – еще раз получает ответ: время наполняет слова своим собственным смыслом.

Вот уже на протяжении почти столетия русская эмиграция большими и малыми волнами накатывается на континенты земного шара. Дистанция еще слишком мала, чтобы понять во всей полноте историческую необходимость и обоснованность этого процесса. Наше поколение лишь является свидетелем того, что этот процесс не только «опустошает» российские просторы, но и возвращает «обогащенную руду» на эти же просторы.

Постараемся вынести за рамки рассуждений многие моменты, среди которых самый расхожий – и обладающий наибольшей эмоциональной силой звучит вопросом: чем поэт расплачивается за этот новый опыт? И за тот дар, который он возвращает родному языку и родной земле, покинув ее навсегда – чаще всего не по своей воле.

Вынесем эти моменты за рамки рассуждений потому, что ответ нам известен – расплачивается жизнью. Ибо язык – единственное богатство не только целиком принадлежащее человеку, но и адекватное ему.

Когда судьба вырывает поэта из его языковой среды, это – всегда шок, а для многих – трагедия: история всех эмиграций подскажет множество тому примеров. Но здесь уместно заметить, что вообще ни один большой поэт не вырос в тепличных условиях, то есть поэт не пользуется особыми привилегиями у жизни.

В чем же его «избранничество»? Видимо, в заложенном в нем стремлении преодолеть собственное юношеское косноязычие – и всеобщий инфантилизм, упорядочить хаос. И ко-

торое в конце концов вырастает в постоянную потребность совпасть с самим собой в каждом слове, в каждом движении души. И тогда строки, лежащие на бумагу, выстраиваются в линию жизни. В каждом отдельном случае ее направление зависит от множества составляющих: от мощи таланта, от темперамента, от эпохи... Но куда бы ни вела эта линия, она всегда выводит поэта за пределы настоящего времени...

Поэт попадает в эмиграцию как Робинзон Крузо на необитаемый остров. И первое, что он делает, – осматривается по сторонам и, как правило, на некоторое время замолкает. Он прислушивается – независимо от того, знает он или не знает чужой язык. Это любопытство к языку «аборигенов» никогда не оставляет поэта и – как крайность – или выводит его за пределы родной речи, или заставляет жить с двумя языками.

Но даже если при этом и происходит диффузия, взаимное проникновение, обогащение и того и другого языка, то в первую очередь эмиграция поэта оказывается испытанием жизнеспособности языка метрополии. И было бы достаточно назвать только два этих имени – Цветаева и Бродский, – чтобы свидетельствовать о жизнестойкости русской речи.

Мы полагаем, что движение времени, истории, движение самой жизни – понятия менее абстрактные, чем кажется уму, привыкшему к их бесконечному повторению. Поэт, для которого время напрямую связано с языком, причастен этому движению вперед, к «цели», про которую он знает только, что она удаляется по мере приближения к ней.

Немногие выдерживают эту скорость, кто-то сходит с дистанции, кто-то топчется на месте. До конца идут редкие единицы – и это означает только, что язык не нуждается во множестве гениев.

И если согласиться с тем, что язык жив способностью к расширению, к экспансии, то и эмиграция поэта, окрашенная как понятие социальное, по преимуществу, черной краской, в нашем случае обретает смысл позитивный. Во всех случаях эмиграция – это ни что иное как желание – или необходимость – выйти за пределы, и это роднит ее и с языком, и с поэзией.

*Но клянусь честью, ни за что
на свете я не хотел бы переменить
отечество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог ее дал.*

*Из письма А.С.Пушкина
П.Я.Чаадаеву. 1831.*

Покинуть родину поэта, как правило, принуждают обстоятельства. Чаще всего – обстоятельства внутреннего порядка, в которых поэт признается только самому себе.

В основе такого конфликта, по Юрию Лотману, лежит ощущение действительности как «мира рабства», которому противопоставляется «мир свободы». Тоска по свободе – «двигатель» в поэзии такой же вечный, как «жизнь», «любовь», «смерть» – и напрямую с ними связанный.

Поэзии вообще нет без преодоления, а «бегство» и «изгнание» наиболее убедительно подтверждают существование по меньшей мере двух полюсов жизни. Между ними существует «прямая-обратная» связь: поэту необходимо физическое – или метафизическое – «бегство», и начав это движение, ему ничего не остается как только увеличивать дистанцию. А так как существуют две отправные точки – «куда» и «откуда», то они и уравнивают «поэта-беглеца» и «поэта-изгнанника».

Это – в теории. На практике все выглядит более прозаично: на долю всякого великого поэта приходится по меньшей мере одна противоборствующая сила в лице императора, диктатора, тирана...

*Лишив меня морей, разбега и разлёта
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчёта:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.*

О.Мандельштам. Воронеж, 1935.

В предыстории всех ссылок, изгнаний, бегств поэта лежит его полная неспособность к «обучению», к «дрессировке» – поэтом невозможно манипулировать.

И когда это его качество входит в противоречие с окружающим миром – с господствующей доктриной, с царствующим домом – его или удаляют или убивают. Не только русская, но и мировая поэзия служат этому иллюстрацией.

Время не так равнодушно, как принято думать, и действует с расчетом. Но оно разыгрывает свои сценарии не будучи обремененным страхом конечности. Поэтому для него всякий результат служит одновременно и отправной точкой.

Например, конфликт между императором Августом и Овидием заканчивается ссылкой поэта к далекому Черному морю... и получает свое развитие спустя восемь столетий, когда русский царь Александр I ссылает Пушкина в те же края... давая ему тем самым «масштаб для измерения собственной личности».

*Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.*

*И. Бродский.
Полонез-вариации, 1982*

Мы отказались говорить о видимой, будничной стороне эмиграции из-за малодушного страха причинить себе боль, воскресив страдания тех, кого мы с любовью читаем сегодня. А также и тех, кто так и канул в небытие, не умея, не смея, не желая жить.

Но тех немногих, которые выжили и сохранили голос, спас язык: потребность бормотать слова оказывалась сильнее боли, голода и отчаяния.

Для Ходасевича эмиграция была – по его же словам – уходом из тьмы «гробовой, российской» в «европейскую ночь». Так или иначе, но в Европе его поэтический дар иссяк, и последние десять лет жизни он посвятил мемуарной и литературно-критической прозе: Ходасевич видел своей задачей «сохранить несколько истинных черт для истории литературы». В тридцать седьмом году, за два года до смерти, он писал:

«Писатели, ушедшие после Октября в добровольное изгнание и положившие начало эмигрантской словесности, унесли с собой лишь общие традиции русской литературы: ее национальную окраску, ее тяготение к религиозно-философским и нравственным проблемам, наконец – и в особенности – ее духовную независимость».

Но, по-видимому, его собственная поэтическая немота не оставляет места для позитивных выводов; далее он пишет:

«Она [русская эмиграция] их [традиции] сберегла – по крайней мере, как идеал, и в этом есть несомненная, неотъемлемая заслуга ее зачинателей. Но той жизненной энергии, того благодетельного духа новых исканий, который свойственен творческим, а не критическим эпохам, она с собой не принесла и не могла принести».

Соглашаясь с ним – и не соглашаясь, поскольку по прошествии лет сама поэзия Ходасевича во многом опровергает его же слова, – заметим только, что заранее обреченной на неудачу оказалась его попытка объединить разные судьбы и разные голоса в единое понятие «эмигрантская словесность», ибо язык и поэзию интересуют только те, кто «выбивается из хора».

Сам Ходасевич тоже «выбивался» – и отдавал себе в этом отчет: «Мы с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, “дикими”. Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть».

Но здесь интересно другое: ясно, что для Ходасевича имя Цветаевой было не в новинку. Еще в России он следил за ее творчеством, писал о ней в эмиграции, отдавал должное ее поэтическому дару (впрочем, всегда с позиции мэтра). Тем не менее, это ему принадлежат слова: «Таких лиц всегда много в литературе, но история литературы их никогда не помнит».

Сказал... и ошибся. И вот эта ошибка говорит о столь многом, что на этом стоит остановиться особо.

Говорит она, во-первых, что на том уровне, который мы определяем как «поэзия», нет места критике и тем более

оценкам типа «нравится-не нравится». Во-вторых, о том, что большой поэт со временем только вырастает; и одно это наводит на мысль, что поэт пишет для будущего.

Но что стоит за этими словами, уже ставшими штампом?

В поисках ответа наталкиваемся на интересную зависимость: поэт пишет сегодня и для сегодня. Но то, что он пишет сегодня, одновременно есть и некий тайный message, зашифрованное послание, которое даже сам поэт в настоящем расшифровать не в силах, ибо содержанием его наполняет время.

Но в том будущем, которое прячется в тумане, message должен быть принят. Не любезный читатель, не критик тем паче, не толпа – поэт принимает послание собрата, расшифровывает его, делает его частью своего голоса... И посылает дальше.

Именно эту «эманацию или радиацию, которая растягивается на поколение или на два», имел в виду Бродский, когда говорил: «Ничто так не сформировало – меня, по крайней мере – как Фрост, Цветаева, Кавафис, Рильке, Ахматова, Пастернак».

Эта возможность общения «через время», вопреки времени не только не отнимает у поэта «формообразующей среды», но дает ему при этом еще и право выбирать себе собеседников. В этой живой связи через голос, посредством речи, и заключается, вероятно, то бессмертие поэзии, о котором так много пишут и говорят.

Париж

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Валентина Ботева

«...В запредельности взгляда»

Рождество

*Будет в олове заката
плавиться звезда,
добредёшь до крайней хаты,
от других отстав.*

*Дверь откроешь – пусто в доме,
сбросишь пальтецо.
И увидишь вдруг – в соломе,
в теней скрещенном изломе
светится лицо.*

*Скорбен рот, и волос тонок,
рыжеват, кудряв, –
Господи, спаси! – ребёнок
спит средь мёртвых трав.*

*И во исполнение сроков,
прорезая тьму,
разделенный на волокна
свет звезды из мёрзлых окон
тянется к нему.*

*А за окнами – равнина –
сонный лунный мел...*

*Но дохнуло Палестиной –
время катится лавиной
к человеческому сыну –
в снежный Вифлеем.*

Звёзды в детстве

*Кожурой апельсиновой кажется снег под окном,
а чуть в сторону ступишь – глубокие синие тени
окружают наш старый, купеческой выделки, дом, –
как их мало осталось в глуши чернозёмных губерний,*

*этих гнёзд родовых, доживающих каменный век
с граммофоном вьюнка на дырявой трубе водостока...
Я вернулась сюда, где горит апельсиновый снег
и морозные колкие звёзды – на небе высоком.*

*Вместе с дедушкой мы поднимаемся на косогор,
чтоб увидеть, как Марс приближается – круглый и красный,
и, скрывая свой ужас, учёный ведём разговор
о космических безднах – таинственных и безучастных.*

*Под горою – омишаник, где сонные пчёлы гудят, –
может, видят во сне одуванчиков рыжие солнца,
надо будет узнать, отчего в них заводится яд,
а про мёд уже ясно, что он из гречихи берётся.*

*Но куда интереснее звёзды, – они далеко,
ну, а если обрушатся? – что их там, собственно, держит?..
Ладно, завтра додумаю... Надо идти на покой, –
вот и окна погасли, и лают собаки всё реже.*

*Куры спят на насестах, а кошки на тёплых печках,
мышь, – те, что конфеты приносят, – по щелям и норам...
И никто не узнает, что я уношу на плечах
весь безудержный мир, для которого разум – опора.*

* * *

*Каждым шагом – к началу,
каждым вздохом – к исходу...
– Помнишь, небо качало
гроз тяжёлую воду?*

*А потом, на закате, –
помнишь, – длинные тени,
влагу листьев и платье
мокрое по колени?*

*Ту калитку в жасмине,
словно в белом дурмане? –
Может быть, и поныне
кто-то так – на свиданье...*

*– Нет, не помню. Не надо
дёргать память по нитке.
Больше нет того сада,
той – скрипучей – калитки...*

Чужое окошко

*И в этом городе есть дом,
и в этом доме есть окошко,
где жизнь, как книга под обложкой,
нет, как вода под первым льдом,
переливается, струится
и отражает всё подряд:
отсюда – фонари и лица,
оттуда – ёлочный наряд –
цветные огоньки гирлянд
в переплетеньях канители,
снежинки, бусы и шары,
жар апельсинной кожуры, –
весь блеск рождественской недели...*

*Лунной залитые дворы
с неслышимым перебегом кошки
от подворотни до дыры
в заборе... Что мне в том окошке? –
Какие лучшие миры?
Чего я жду? – какого чуда?
Уже в окошке – ни огня...
Кружится снег. Из ниоткуда –
крик ослика и горб верблюда,
и грива белого коня...
Они прошли мимо меня.*

* * *

*Проснёшься в три –
в окошко не смотри,
там мир ещё для взгляда не готов, –
бесформенный, дымится изнутри,
как будто дышит миллионом ртов.*

*Ещё деревья смазаны, ещё
безвидно небо и пуста земля...
Глухою ночью мир развоплощён,
и утром надо начинать с нуля, –*

*но будет ли оно?.. Вокруг – ни зги,
ни шёпота – лишь темень да озноб.
И ничего не слышал про шаги
бархан зимы – кочующий сугроб.*

Голубая кровь

*Пили жжёнку, смеялись
и на плаху все вместе
шли – не смерти боялись,
а потерянной чести.*

*Погибали за веру,
но не кланялись пуле,
за чины да карьеру
спин дворянских не гнули,*

*по паркетам ступая,
по болотной ли жиже...
Где же кровь голубая? –
По Шанхаям–Парижам!*

*Из сивашской купели –
в Ниццу ли, на этап ли, –
всё равно – уцелели
драгоценные капли!*

*Не согнуть эти плечи,
эти – струнные – спины, –
каждый Богом отмечен:
из другой, видно, глины...*

*Небо, ставшее кровью, –
голубое железо!
Присягаю сословью
первому – без подмеса.*

* * *

Памяти Иосифа Бродского

*Сам он из созвездья Близнецов,
с берегов простуженной Невы,
где когда-нибудь – в конце концов,
может быть, ещё родиться вы*

*или я... Когда-нибудь, в иной
жизни – переулок, поворот...
...Но булыжный камень мостовой
подтвердит, что больше не живёт*

*в этом доме – и теперь нигде –
разве что, за вспышками торцов,
за огнями в сморщенной воде, –
мальчик из созвездья Близнецов...*

Ты и я

*Между нами преграда,
дымовая завеса...
Ты – из белого сада,
я – из чёрного леса.*

*Что кому-то когда-то
было чудным мгновеньем,
обернулось расплатой –
вечным разминовеньем,*

*суетою вокзала,
ты – туда, я – обратно...
Только рельсы да шпалы,
да фонарные пятна*

*сквозь туманную дрёму
промежуточных станций, –
ты – домой, я – из дому...
Нам бы выйти, остаться*

*здесь, где поздняя осень
вспомнила напоследок
шорох спелых колосьев,
тяжесть согнутых веток.*

*Мы сойдёмся, как рельсы,
в запредельности взгляда –
я, из чёрного леса,
ты, – из белого сада...*

* * *

*В идеальном государстве
нежелательны поэты –
что нам в жалком их богатстве?
Бесполезны их секреты –
не умножить ими стада,
не засеять ими пашни...
Нет, поэтов нам не надо! –
это день позавчерашний.*

*Шелестит венок подмышкой...
Вьётся тропка – пыль да кочки
и распахнуто как книжка
небо, где мелькают строчки.
А потомдохнут бореи,
дождь затянет паутиной
воробьиные хорей
и гекзаметр журавлиный.*

*Стая ласточек – поэмой
упорхнёт в чужие дали...
А куда идут – невемо.
Просто так – чтоб не догнали.*

Осенние прогулки

*В чужой душе – потёмки,
В своей – совсем темно,
Бреду по самой кромке
Уже давным – давно.*

*Дописана страница,
Закончена тетрадь,
И страшно оступиться,
И нечего терять.*

*Не стал огонь мой светом,
Истлел под очагом,
Была ли я поэтом? –
Да нет, скорей – стихом.*

*Верней, четверостишьем,
А может, лишь строкой –
той, выброшенной, лишней,
замененной другой.*

*Печальные итоги,
Убогая стезя...
Другие есть дороги,
Пошла бы, да нельзя.*

*Черствеет хлеб в котомке,
Кастальский ключ иссяк,
Бреду по самой кромке, –
Каким он будет, шаг –
последний?..*

* * *

*Кто с детства рисовал овалы,
соединяя их друг с другом,
тот знает – время не устало
всё так же двигаться по кругу.*

*Но мир не циркулем расчерчен –
одним объятием охвачен
того, кто кругло бесконечен,
один – и всё же многозначен.*

*Летят фортуновы колёса
над эллипсоидной планетой,
пружиной скручен знак вопроса –
и он мне нравится за это, –*

*не обрывается кривая
там, где зрачок до точки сужен,
мы в заблудившемся трамвае
по ленте Мёбиуса кружим –*

*и вновь за смертью – воскресенье,
и снова за разлукой – встреча...
Круг – это божьих рук творенье,
а угол – только человеческих.*

Книга

*Спрессованная плотъ пространства,
И время сжатое до мига, –
Целебной горечью лекарства,
Истлевшим веком пахнет книга.*

*...парк тает в розовом тумане,
кричат разбуженные птицы,
и кто-то скачет на свиданье,
и конь храпит,
и лгут страницы
о счастье.*

Падает записка.

Соперник потирает руки.

*И вот уж сумрачно и близко
звучит адажио разлуки.*

*В увядших красках листопада
лампадой теплится рябина, –
тут – монастырская ограда,
а там – постылая чужбина....*

Закрыта книга. Пахнет воском

Свечей сгоревших у киота.

И солнце выцветшей полоской

Дымится в нитях переплёта.

* * *

*Зелёной шелестящей оболочкой,
Пружинящей у Бога под стопой, –
Хаос прикрыт...*

*Как не крутись, а точка
Поставлена уже на нас с тобой.*

*Уже осталось меньше половины,
Да что там – половина! – хоть бы треть...
Успеть бы только до своей вершины,
Пусть – небольшой, но только бы успеть.*

*Не оступиться, не сорваться камнем, –
О Господи, как страшно тянет вниз!
Ужели это умысел Твой давний –
И Ты шепнул Орфею: – Оглянись...*

*Я не прошу бессмертья даже строчке,
Я не бегу тернового венца,
Не надо мне ни славы, ни отсрочки, –
О Господи, дай сбыться до конца.*

Татьяна Жилкина

*Светлой памяти Анастасии
Прокопьевны Копыловой*

Родился гением

*«Осанна!»**

На закате солнечного переделкинского апреля с его немолчным суетливо-звонким щебетом вернувшихся скворцов, влажным и теплым дыханием земли и, среди уже отважно пробившейся к свету травы, редкими островками неправдоподобно белых сугробов, нанесенных еще февральскими метелями к подножью сосен, окружавших плотным кольцом-хороводом дачу Каверина, мы сидим с Вениамином Александровичем рядом в широких плетеных креслах и вычитываем подготовленный материал для журнала «Литературное обозрение».

Вернее, «вычитываю» я. Писатель внимательно слушает с полузакрытыми глазами, изредка кивая головой, как понимаю, в знак согласия с прочитанным мною.

Несмотря на тяжелую болезнь, «съедающую» его изнутри, и огромный, во все лицо синяк от недавнего падения, который не скрывает даже меховая шапка-ушанка, глубоко надвинутая на лоб, голова ясная, мысль работает четко, но слова даются с трудом. Жить остается две недели. Всего две недели...

* «Спаси нас!»

Знает ли он, чувствует ли, что так уже короток отмеренный ему на теплой весенней земле в этом безумном и несчастном мире, срок? Вероятно. Но отчего так пронзительно-радостно звучат его слова о надежде, без которой каждому из нас трудно, почти невозможно жить?

А время все-таки не проходит бесследно, соглашаюсь я с Кавериним, неправда все это, оно не тонет в глухом океане вечности, а продолжается, претворившись в память, опыт, традиции и даже в возраст. Но как важно при этом не «мудрствовать лукаво», не тратить силы на выяснение «отношений» со Временем, а если уж что и выяснять, то правду о нем, несмотря на всю мучительность духовных исканий.

...Пока мы работаем – уходящий луч солнца прощально пробивается сквозь пушистые верхушки деревьев, скользит над нашими головами по крыше одноэтажного домика и медленно угасает...

Уже не помню в связи с чем перечисляю имена: Симонов, Леонов, Твардовский, Паустовский, Арбузов, Рошин, Вампилов... Стоп! Каверин неожиданным движением руки и поворотом головы в мою сторону, останавливает:

– Вы к этой ком-па-нии, – он так и произносит нараспев это слово, показавшееся мне в ту минуту немного обидным. – К этой компании, – повторяет он вновь, – Вампилова не относите. Он родился гением и если бы не ранняя гибель, – взошел на вершины мировой драматургии.

Одной фразой, а произнести ее по возможности выразительно и четко помогает слабая жестикуляция худых старческих рук, он неожиданно напомнил мне старую, но хорошо забытую истину – талант попадает в цель, когда никто попасть не может; гений попадает в цель, которую никто не видит...

«Родился гением». Так о Вампилове не сказал никто.

Как композитор наполнен музыкой, так и в душе драматурга Александра Вампилова, который «написал всего пять пьес и завоевал весь мир», среди разлада, неверия, лжи постоянно звучала пронзительно-печальная мелодия тоски о прав-

де и добре, человеке совершенном, нравственном, красоте и поэзии отношений.

Кажется нет проще задачи для художника – благими порывами вымощены дороги во все стороны Вселенной, а не только в ад, как принято считать. Так отчего же его драматургия, рожденная в чистом роднике сибирской глубинки, – а есть в ней «нечто и от чеховской сценической сложной простоты, нечто от гоголевской сатирической химеры, нечто от Салтыкова-Щедрина, но в отличие от всех них свое молодое современное вапмиловское», – по словам Александра Штейна, – подчас необъяснима, часто мистически настроена и почти всегда пророческая?

У ретивых чиновников, «заведовавших идеологией» в обкомовских кабинетах, и у тех, кто восседал в креслах литцензуры, страх перед непонятым, как, впрочем, это бывает всегда, переходил в растерянность, и было от чего. Алчность, пошлость, торгашество, приспособленчество, фарисейство, двуличие – «джентльменский набор» человеческих качеств принадлежал исключительно «пережиткам капитализма» – и не иначе! И вдруг оказывается, что у родного советского человека, да еще в эпоху «развитого социализма» эти пороки приобрели особую пряность!

Но и театральные двери долго оставались наглухо закрытыми для Вампилова. И не столько по воле цензуры – сколько из-за стереотипно устроенных наших собственных мозгов и принципа раз и навсегда устоявшихся истин. Не всем оказался понятен и просто «по нутру» его герой, который проходя через испытания, живет в сложнейшей борьбе между Злом и Добром, когда последнее не прячется за оборонительную баррикаду, не устраивается поудобнее в прокурорской позе. Но и всепрощение, коим полна вампиловская драматургия, не уводит от истины. Это скорее позиция Достоевского – «при полном реализме найти в человеке человека».

Когда однажды Олег Ефремов предложил Вампилову «для быстрого прохождения пьесы» – речь шла об «Утиной охоте» – «провести ее по разряду пьес национальных авто-

ров», – тот немедленно отказался и был уязвлен. Вампилов считал себя русским писателем, был кровно связан с русской литературой, а самое главное – в подачках не нуждался.

Тот же Ефремов признался, что предложение, с которым обратился к ним молодой драматург, расслышано и понято не было. Его боль, его исповедь были поставлены под сомнение, казались провинциальной экзотикой. «Мы не почувствовали, что каждая его строка пропитана сознанием какой-то высшей цели».

За формой драмы, а почти каждая пьеса начинается как водевиль или фарс, а затем стремительно достигает драматического напряжения, скрывались подчас мучительные личные вопросы, в которых, как это бывает всегда в подлинном искусстве, выражалось Время.

Горько сознавать, что таланту в России испокон веков суждена двойная доля – одна земная, тяжелей которой не сыщешь, другая – посмертная. «Русский гений издавна венчает...»

По иронии судьбы при жизни Вампилова его драматургии как бы не было. Только за два года до гибели его имя пусть робко, но произносится в московских театральных кругах, а театры медленно, боязливо, «в раскачку» обращаются к его пьесам. Это уже потом, после, когда, казалось, весь культурный мир Европы и Америки заговорил о «сибирском Чехове», правда, не без доли суетного любопытства, о «театре Вампилова», подчиненного особой эстетике, о «загадке» и тайне, которые он унес с собой в воды Байкала. Возник даже своеобразный термин – «восторженное непонимание Вампилова»...

А на мой взгляд, он уже тогда предвидел нас, сегодняшних, подлецов и шутов одновременно, неверующих, опустошенных, полных удушающей лжи, одержимых безудержной погоней за земными благами, сменивших один флаг на другой, присовокупив к красному еще два, но по-пионерски «всегда готовых» к новому коммунистическому бреду; порой ненавидящих друг друга и рвущих «изо рта кусок», презревших нетленные сокровища Духа, разучившихся делать добро, любить и прощать.

Это был, – я бы сказала так: «...провидческий драматизм будущего». Едва ли не единственный из молодых писателей «шестидесятников» он воочью показал нам наше вырождение – куда мы зашли, гонимые ветром истории. И в то самое время, когда трудно стали различимы даже противоположности – любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, свобода и порабощение, увидел в обретении вытравленных Системой из народной души христианских заповедей, следуя которым Добро и Доверие совершают подлинные чудеса, выход из Тьмы и Хаоса нашего существования – не убей, не укради, не обмани, не предай, не прелюбодействуй; «Почитай отца твоего и мать», «Возлюби ближнего, как самого себя», «Не хлебом единым жив человек», «Побеждай Зло Добром», «Истина делает вас свободными», «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем», «Дорожа временем, потому что дни лукавы», «По плоду познается дерево», ибо нет иного Света, чем тот, что зажегся две тысячи лет тому назад.

И угадав эту простую и мудрую Истину – он принес в мир Свое слово.

Сначала очень личное и такое явственное сквозь туманную дымку лет...

Пять минут назад гулко захлопнулась за Саней дверь на лестничную площадку. Он уходит в тот раз последним из всей многоголосой и шумной компании.

Распахнув окно в светлый июньский рассвет, окутавший Иркутск розоватым туманом и, переставив со стола на широкий подоконник вазы с букетами байкальских оранжевых жарков и лиловых колокольчиков, привезенных накануне с побережья кем-то из гостей, мы с мамой моем в раковине посуду, а он все сидит на табуретке в углу просторной кухни и, склонив к гитаре темную кудрявую голову с нежно-бледноватым восточным овалом лица, тихо перебирает струны.

Потом встает, как-то неловко прощается и уходит.

Больше я его уже никогда не видела. Но звуки те доносятся ко мне через годы утрат и потерь и сладостной болью рвут на части сердце: «Гори, гори, моя звезда...»

Был час, по меткому определению французов, «между волком и собакой». На город вместе с пушистым снегом, напоминающим легкие клочья ваты на новогодней елке, пали ранние декабрьские сумерки. От синевы, разлитой в густом морозном воздухе и тишины высоких сугробов, огни зажженных электрических лампочек сквозь щели ставней деревянных домов со старинной резьбой кружевных наличников, кажутся мигающими звездами, чудесным образом упавшими на землю, чтобы через мгновение вновь взлететь на небо и там замереть в чистоте и сиянии рядом со строгим месяцем. Нет более совершенной декорации, чем эта «в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре».

Синий свет сугробов и сопровождал всю дорогу пытящий, толстопузо-рыжий автобус с заиндевелыми стеклами на иркутскую окраину, где меня в тот вечер ждали...

Окна квартиры занавешены изморозью. Одно из них, выходящее прямо на Ангару, – Санино. Комната, как обоями оклеена театральными афишами спектаклей, состоявшихся уже без него – Норвегия, Финляндия, Швеция, Англия, ФРГ, Югославия, Польша, Чехословакия, Америка... Книжный шкаф с его библиотекой, диван, письменный стол. На нем лампа под зеленым стеклянным абажуром, кусочек байкальского сердолика – «Санин» камень... Пожалуй, все.

Анастасия Прокопьевна – маленькая, худенькая, в теплом бумазейном платье в «горошек», подвязанная длинным, до колен ситцевым фартуком, гремит на кухне чашками в стареньком буфете, достает сахарницу, снимает с плиты топленое молоко к чаю. Галя, Санина сестра, приветливо улыбаясь, ставит на стол «горницы» горячий самовар, из духовки появляются теплые шаньги и сладкий с брусничной начинкой пирог.

Все, как обычно – и мой приезд в дом Вампиловых, и радость встречи и горечь воспоминаний...

Молодая учительница математики средней школы поселка Кутулик, затерявшегося в аларских степях Восточной Сибири, Тася Копылова, Тася-Тасенька, носила под сердцем четвертого ребенка, когда у ее мужа Валентина Никитовича Вампилова начались на работе, на первый взгляд, какие-то странные неприятности. То вызывают по несколько раз в неделю в «район» и требуют отчетов по школе десятилетней давности, когда он вовсе и не исполнял директорские обязанности и даже не работал в ней. Взламываются в учительской на шкафах замки и пропадают архивы. Горит среди ночи школьная ограда – всем «миром» тушили, иначе быть беде.

Появляются в поселке, где все знают друг друга, незнакомые мужчины в плащах мышиного оттенка и, называя себя страховыми агентами, – а народ в сибирских селах доверчив до наивности! – ходят по домам, открывая сапогами незапертые двери, шарят в сених, что-то выпрашивают и записывают в блокноты такого же серого цвета.

...Арестовали Валентина Никитовича в февральскую ночь тридцать восьмого года. Горела на столе свеча, от печи тянуло остывающим теплом, она не спала – кормила маленького.

Услыхав короткий, как выстрел стук в дверь, спокойно оторвала от груди сына, бережно поправила сбившейся ему на потный лобик платок, положила в колыбель, висевшую на крючке под потолком, чуть качнула ее, затем легким движением руки разбудила мужа и только после этого вышла со свечой в сени и подняла заложку. Не закричала, не заплакала, боясь испугать проснувшихся детей.

Они знали, что рано или поздно, но так будет – ночной стук, мужчины в серых плащах, похожие друг на друга, как волки в стае, их безмолвный разговор при обыске. Еще в канун Нового года, когда мужа сняли с работы, сожгли весь его архив – письма, дневники, даже конспекты университетских лекций – всю «крамолу». Остались только семейные фотографии да старый альбом с юношескими стихами...

Анастасия Прокопьевна внезапно замолкает. Старается ли в эти минуты воскресить в подробностях, которые помнит

только она, ту страшную ночь, или в этот миг, как и тогда, оборвалось в душе нечто такое, после чего все слова – пустой звук?

...Трогательный факт из биографии провинциального учителя русской литературы.

Десятого февраля, в год, когда весь мир отмечал столетие со дня гибели Пушкина, жители далекого завьюженного бурятского поселка собрались в клубе, жарко натопленном по этому случаю дровами, чтобы почтить память великого сына России. И даже Анастасия Прокопьевна не помнит тех самых «главных» слов, что сказал, открывая «пушкинские дни» в Кутулике, Валентин Никитович. Но музыку стихов, звучащую из уст любимого, душа хранит до сих пор: «...мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой».

Судьба навечно, навсегда соединила двадцатитрехлетнюю Тасю Копылову, дочь иркутского православного священника о. Прокопия, и Валентина Вампилова, выходца из крестьянской многодетной, но образованной бурятской семьи.

– Влюбилась?

Анастасия Прокопьевна смущенно, совсем по-девичьи улыбается.

– Влюбилась. Очень умный и образованный человек был.

О том, что ко дню их встречи у Валентина Никитовича, который оказался ее старше на восемь лет, была семья, две дочери – мы не говорим. Да и что тут скажешь? Любовь всегда права. А то была великая любовь – овдовев в тридцать два года – замуж больше не вышла. Он так и остался для нее на всю долгую многотрудную жизнь единственным, даже тогда, когда ждать и надеяться на возвращение уже не было сил...

...Стынет чай, остывают шаньги. В темноте за окном бьется о стекло под морозным ветром замерзшая ветка тополя. Первая прерывает молчание Галя.

– Мама, ты не бойся, рассказывай, – успокаивающе-ласково гладит она материнскую руку. – Сейчас могилы находят, нашли ведь неподалеку от города под Пивоварихой

целое захоронение расстрелянных в те годы в овраге. И памятники ставят. Может, и нам доведется. Ты только не плачь, повтори, что сказал отец, когда его уводили.

– «Если меня в чем-то обвинят – я не переживу».

– Его последние слова?

– Последние.

И снова умолкает.

– Ну, а потом были сообщения, где он и что с ним? Где погиб? – спрашиваю я, понимая всю нелепость вопросов и заранее зная ответ.

– Ничего не было.

– Увели, и все?

– Да.

Медленным движением она берет со стола чистую чашку, и я слышу легкий дребезжащий звон от ложки внутри посуды. Наливает из чайника заварку, подносит к кранику самовара, ставит передо мной на блюде и только после этого обращается к Гале:

– Галя, там... на верхней полке шкафа папины письма... Достань их.

Отодвигая от себя чашку с горячим чаем, освобождаю место для двух листочков «к клеточку», вырванных из школьной тетради и исписанных мелким быстрым почерком. Читаю:

«Дорогая Тася!

Живем по-старому. Наняли прислугу. Порекомендовала Горохова. Девушка семнадцати лет, из деревни, необтесанная. Тридцать пять рублей в месяц плюс кофта и юбка на всю зиму. Горохова очень рекомендует.

На всякий случай не отказывайся от сиделки, которая изъявила желание.

Работаю над докладом. Пурхаюсь, как обычно. Всегда поручают перед самым началом, не могут заранее. Тема определенная, развернутая, но материалов нет. Высасываю, как всегда, из пальца.

Ну, как твои дела? Еще раз прошу не нервничать, не беспокоиться. Я уверен, все будет хорошо. И, вероятно, будет раз-

бойник-сын. И боюсь, как бы не был п и с а т е л е м (разбивка моя – Т. Ж.) так как во сне я все вижу писателей.

Первый раз, когда мы с тобой собирались, в ночь выезда, я во сне с самим Львом Николаевичем Толстым искал дробин и нашли. Ему дали целый мешок (10 кг), а мне полмешка. Второй раз в Черемхове, ночуя в доме знакомого татарина, я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую щеку.

Боюсь, как бы писатель не родился...

Сны бывают часто наоборот. Скорее всего будет просто балбес, каких много на свете. Лишь бы был здоровый и мог чувствовать всю соль жизни под солнцем.

Пиши, как, что. Если нужно – плюну на доклад и выведу. Сообщи, можно ли на лошади заехать на твою квартиру, когда поеду за тобой.

Договорись предварительно насчет лошади до родилки».

Внизу приписано:

«Дорогая Тася! Не успел запечатать предыдущее письмо, как зашла старуха с телеграфа с телеграммой.

Молодец, Тася, все-таки родила сына. Мое предчувствие оправдалось... сын. Как бы не оправдалось второе...

Очень рады, что все благополучно, нормальная температура и прочее. Надеемся, что и дальше все будет благополучно. О нас не беспокойся. Вечером придет новая прислуга. Легче будет. Если это было сегодня ночью с восемнадцатого на девятнадцатое, то знай, ты выписываешься двадцать пятого или двадцать шестого. Подробно сообщи, когда мне ехать.

Здоров ли мальчик? Не замухрышка ли? Интересно, какая из акушерок дежурила, обошлось ли без помощи врача?

Не беспокойся ни о чем. Пока. Валентин.

Не назвать ли его Львом или Алексеем? У меня, знаешь, вещи сны...»

Под письмами дата – 19 августа 1937 года. День рождения Александра Вампилова, названного отцом в честь опального русского гения, которому было суждено продолжить список русских писателей, не перешедших пушкинский возраст...

Какая тайна заключена в пожелтевших и единственно уцелевших в семье с тех кровавых лет листочках? Чего в ней больше – предчувствий, интуиции или волшебного таинства вещей снов, еще неразгаданного человеком?

Саня не мог помнить отца даже по отрывочным воспоминаниям как старшие братья и сестры. В ту страшную ночь он крепко и сладко спал, напившись теплого материнского молока. Но мысли об отце будут тревожить Вампилова всю жизнь...

Только однажды он обронит как бы невзначай: «...Отец был репрессирован за то, что у него было слишком много книг для сельского учителя».

Единственной фразой, произнесенной чисто по-вампиловски образно и точно, вскрылось, как при нарыве, – не забудем – шли всего-навсего шестидесятые годы! – тягчайшее преступление века против интеллигенции, содеянное коммунистической системой и вызванное прежде всего патологической злобой к тем, кто просто-напросто честнее, умнее, образованней, благородней.

И не случайно, почти в каждой пьесе Вампилова, маленьком драматургическом шедевре, горькой мелодией звучит тема неисполненного сыновьего долга, а в удивительной по своей искренности и мудрости притче «Старший сын» главный герой Сарафанов наделен высшим человеческим даром, данным ему от Бога – умением любить и прощать: «...Жизнь справедлива и милосердна, тех, кто прожил с чистым сердцем – она всегда утешит».

Рассказывают: восторженно встретил юный Валентин Вампилов революцию. В старом альбоме, том самом, что сохранился при обыске, можно и сейчас прочесть юношески-наивные, искренние стихи на манер апухтинских, где есть и такие строчки: «О, милые братья, раскройте объятия друг другу скорей!»

Трагизм поколения, поверившего в революцию, заключался еще и в том, что лучших из них первыми ставили к стенке...

А сейчас о самом горьком и трудном для меня. Сознывая чувство вины перед памятью Сани, я отчего-то не могу спокойно и логично, как позволяет Время, поведать о судьбе Валентина Никитовича. Думается, что и Саня не смог бы рассказать даже в наши дни правду об отце. Но вместе с горестными и очень скупыми воспоминаниями Анастасии Прокопьевны и Гали мое воображение волнуют сейчас парадоксальные совпадения, магия чисел, – иначе и не назовешь! – в неразрывной связи трагедий отца и сына.

В пятьдесят седьмом году Анастасия Прокопьевна получает первую весть о погибшем в годы репрессий муже. Стараясь быть точной, выписываю слово за словом страшного в своей простоте и несообразности человеческой логике бюрократического документа:

«О реабилитации.

Справка по обвинению гражданина Вампилова В. Н. 1898 года рождения. Пересмотрено военным трибуналом Забайкальского военного округа 19 февраля 1957 года. Постановление от 27 февраля 1938 года в отношении Вампилова В. Н. отменено и дело производством прекращено. Гражданин Вампилов В. Н. полностью реабилитирован.

Подпись: зам. председателя военного трибунала Забайкальского военного округа полковник юстиции Ладик. 5 марта 1957 года. Печать: «Военный трибунал Забайкальского военного округа. № 116 Т.»

В тот же год майор КГБ «составил документ» о том, что «Вампилов В. Н. был осужден на десять лет и умер в местах заключения от воспаления легких 17 августа 1944 года». И бумага была выслана семье.

Саня всегда помнил этот день. Он почти совпадал с его днем рождения. Но ведь именно в этот день, только двадцать восемь лет спустя, погиб он сам...

Отца обвиняли – и абсурднее этого обвинения трудно что-либо представить! – что он «имел намерения поджечь

Кутуликскую среднюю школу». Она действительно...сгорела, но через полвека и на ее месте построена библиотека, носящая имя сына.

По такому же, типично советскому сценарию – сфабрикованный гнусный донос, последовавший за ним арест, скоротечное следствие, дьявольская «тройка», приговор – погиб в лагерях в те же годы и Санин дед, священник Прокопий Копылов и муж бабки Варвары, известный деятель культуры Цыбен Жамцарано – родной теткой отца, кстати, одной из первых женщин своего народа, выбравших до революции путь европейского образования. Она окончила Высшие курсы Лесгафта и Императорского клинического повивально-гинекологического института, уехала на эпидемию сыпного тифа в Монголию, где и заразилась сама.

...Усилиями Саниных друзей юности в 1992 году было поднято из архивов Иркутского УКГБ «дело Вампилова В.Н.».

Оказалось, что Анастасия Прокопьевна в пятидесятых годах получила фальшивку – Валентин Никитович был расстрелян 9 марта 1938 года, то есть через несколько дней после ареста – следы гебисты заметали отменно! И Галя, говоря о недавно обнаруженных останках близ села Пивовариха под Иркутском, могла быть близка к правде – глиняный километровой овраг с расстрелянными – последнее пристанище их отца...

Читая в архивах КГБ «дело» Валентина Никитовича, натыкаешься на такие подробности, что «волосы дыбом встают».

В тот день «тройка» рассматривала его «дело» по счету... 299. Всего тогда палачи из советского «суда» решили судьбу 473 человек и за редким исключением все они были приговорены к расстрелу!

Это... за... день, в одном областном центре... почти полтысячи погибших! А по «необъятной родине моей, где «человек проходит как хозяин»?! Чудовищный конвейер! Не забыть, не простить, не оправдать невозможно, и прости нас, Господи... Такое не приснится даже Тебе...

Я специально не пишу эти цифры прописью. Может быть, кто-нибудь из тех, кто так тоскует сегодня по временам минувшим и «порядку» – содрогнется. Пускай хоть один-единственный человек, но и тогда я буду считать, что цель моя достигнута и рассказала я об этом не зря.

...И еще о магии чисел. Тридцать пять лет жизни Александра Вампилова и тридцать пять лет лжи об его отце, который уходил навстречу своей гибели той самой поселковой улицей, – тоже по странному совпадению, – что будет названа именем Александра Вампилова сорок лет спустя.

Саня так и не узнал правду об отце. Но помню, отвечая на вопросы друзей, где отец и кем он был, сказал, как всегда кратко и образно, слегка прищурив умные темные глаза и отводя их в сторону:

– Все мы – дети Сталина.

Двадцать два года после гибели мужа Анастасия Прокопьевна прожила в Кутулике, преподавая математику в школе.

Кутулик – по-бурятски «яма».

Немного истории. В восемнадцатом веке он был уже основательно сложившимся селом в ста пятидесяти верстах от Иркутска. Из «Путеводителя по Великой Сибирской железной дороге»:

«Станция Кутулик. В шести верстах от станции, на Большом Сибирском тракте, при Кутулике лежит торговое село Кутуликское 267 дворов, 1996 душ обоего пола, Балаганского уезда. В селе деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи, три церковно-приходских школы. Преимущественное занятие жителей – земледелие с развитым хуторским хозяйством».

...Старинное сибирское село к тридцатым годам нынешнего столетия, когда семья Вампиловых обосновалась в нем, превратилось в райцентр «с головы до пят», который «от деревни отстал и к городу не пристал», хотя сохранил остатки высокой архитектурно-строительной культуры. Двухрядные постройки, приопустившиеся со временем в недогляде, утратили художественные элементы народного зодчества, при-

сущие испокон веков сибирскому торговому селу и «деревянный, пыльный, с огородами и стадами частных коров на его улицах, с гостиницей, милицией и стадионом», – он стал вполне оправдывать свое бурятское название.

На «главной» улице, протянувшейся на несколько километров вдоль знаменитого Московского тракта, сохранившем память о «колодниках», бредущих и в летнюю жару, и в жестокие морозы в Сибирь на каторгу, шли когда-то бои с отступающей армией Колчака. Сооружен даже памятник «участникам борьбы за советскую власть и строительство социализма». Последнего в Кутулике жители так и не дождались... самое «крупное достижение» тех лет – это открытие в переоборудованной для столь высокой «культурной» цели церкви Иоанна Предтечи кинотеатра «Звезда». Думаю, что такое название кому-то показалось наиболее подходящим в данном случае...

На всем творчестве Вампилова, а особенно в очерках и рассказах – предтечах драматургии, лежит отблеск «малой родины», и деревянный Кутулик как-то странно преображен тихим светом, словно затонувший Китеж, неожиданно увиденный во сне...

Прообразом чайной в последней драме «Прошлым летом в Чулимске», о которой ее постановщик Георгий Товстоногов скажет самые точные слова: «...Пьеса почти совершенство, мне казалось, там нельзя убрать даже запятой, и пусть это не покажется преувеличением – я относился к ней как, скажем, к пьесе Чехова или Горького», – послужил «старый деревянный дом с высоким крыльцом, верандой и мезонином. Начинаясь за воротами, вверх к дверям мезонина ведет лестница с перилами. На карнизах, оконных наличниках, ставнях, воротах – всюду ажурная резьба. Наполовину отбитая, обшарпанная, черная от времени, резьба эта все еще придает дому нарядный вид».

Дом этот в Кутулике под № 123 по улице... Советской стоит до сих пор, еще недавно имевший с улицы в лавку крыльцо. Отчего сам магазин получил среди жителей название – «Высокое крыльцо».

«На пригорке старые избы с огородами, старая школа, выглядывающая из акаций, горстка берез и сосен за серым забором. Мосты, переулки, бегущие вниз с пригорка, – Больничный, Цыганский, Косой, улица Первомайская у блок-поста, выходящая прямо к полотну...»

Поезда в дни и годы Саниного детства и юности не останавливались, летели неудержимо мимо, – а «из вагона наш поселок растянулся вдоль речки, как на ладони», – мимо элеватора, соснового бора, Марова Лога, Каменного Ложка, обмелевшего пруда, синего домика почты, забытого озера без единой лодки, но с пышными и приземистыми березами на дальнем берегу; мимо двухэтажной агрошколы, райисполкома, заброшенной каменоломни, клуба.

Клуб в райцентре, где начинались «наши туманные первые романы» – «средоточие интеллектуальной жизни».

«На месте нового я помню старый, бревенчатый, послевоенный, – напишет позднее Вампилов. – Тот, с кинокартинами по частям, с могучими докладами, с вдовами, с чечеткой, с драками и неминуемым вальсом «На сопках Маньчжурии», исполняемым баянистом Семененко. Помню, как всегда и неудержимо нас тянуло в клуб, какими необыкновенными людьми мы считали всех баянистов и хударюков, которые менялись тогда чаще, чем времена года. Это были бедовые ребята. Они приезжали в Кутулик на товарных поездах, ослепляли публику невиданной галантностью, неслыханной игрой на баяне, сатирическими куплетами, пропивали иногда часть реквизита и исчезали, как в сказке».

Учительский «дом окнами в поле» на школьном дворе, где жили Вампиловы, сохранился до сих пор, как и в соседней Алари изба деда Никиты. Старый, барачного типа или, попросту, барак, почерневший от времени под высоким кутуликским небом, он сложен из толстых лиственничных бревен – «царского дерева». Сибирская лиственница в воде не тонет, в болоте не гниет, в мороз при ней тепло, в жару – прохладно. Поистине – «царский барак»!

Окна без наличников, в доме когда-то был пересыльный пункт, каторжане останавливались по дороге в Александровский централ на последнюю ночевку. Сам Централ с его недоброй славой в народных песнях и памяти, верст этак пятьдесят в сторону – рукой подать по-сибирским масштабам!

Семья Вампиловых занимала комнату со скрипучими половицами и кухню с двумя оконцами – на улицу и во двор. «Русская печь» с духовкой, заслонками, пологом. Около печи – стол. Здесь обедали, когда собиралась вся семья, дети делали уроки, читали, за ним чинилась и штопалась одежда. За этим же столом родились первые строки вампиловских пьес, о которых говорят сегодня как об явлении мировой драматургии...

Неподалеку от дома и в наши дни, как и много лет тому назад, ползут по Московскому тракту медленно в гору машины и повозки с запряженными лошадьми, а с акаций, что шумят по весне между трактом и школьной оградой, дождь смывает, как и прежде, дорожную пыль. Одна из них – Санина, он посадил ее в детстве...

Поднялись к небу, соединились их кроны, и те тополиные саженцы, о которых он напишет с присущей ему легкой иронией:

«Одноклассники странным образом сохранили в себе любовь к анекдотическим выходкам, к тридцати годам причудливо донесли привязанности и шалости, которые так уместны в четырнадцать и так рискованны в двадцать восемь. Один из них, разумеется, не без иронии, сказал мне, показывая на саженцы тополей, выстроившиеся вдоль главной улицы: «Вот, парень, хорошее дело. Вырастут тополя – пригодятся. Идешь по улице, навстречу кредитор – раз, встал за дерево. Идешь дальше – другой! Раз! Снова за дерево!»

На лугу, за Нижней улицей – тишина, нарушаемая лишь звуками ударов кнута «угрюмого пастуха, старика Камашина». За лугом – степное раздолье с волнистыми сопками на горизонте, запахами чебреца и полыни – горький запах родины.

Все вечное и древнее окружало Вампилова с детства и было рядом – земля, стада, вода, избы, небо. Из этой прозрачной, как степной воздух, настоянный на разноцветье трав, – тишины в наш грохочущий, лязгающий, бегущий век, он, кажется, и вышел...

Становление любой личности, а особенно – необыкновенной, всегда загадка.

Каким помнится Александр Вампилов, Саня-Санечка матери и сестре в детстве и отрочестве? Проявлялся ли драматургический талант, что Мельпомена положила ему в колыбель – он, несомненно, писатель «милостью Божьей». Или, все-таки глубину и значимость Личности прежде всего определяет «мера человечности»? Ведь истинный смысл жизни неотделим от ее повседневного обыденного течения – мы проходим по жизни день за днем не в воображении, а в реальной действительности...

Выделялся ли среди своих сверстников тот, суть творчества которого составляли боль и возвышение души в «прекрасном и яростном мире», а поиски справедливости стали страстью, тихой страстью таланта?

«Не проявлялся», «не выделялся» и помнится Анастасии Прокопьевне, вроде, обычное. Но за этим «обычным» открывается многое...

В одном из ранних вампиловских рассказов «Солнце в аистовом гнезде» мальчишка сидит на пороге сельского клуба нежным майским вечером «вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным миром этим. Он готов поверить чему угодно, готов, что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям.

Он подставляет теплым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо. Вчера он спросил: «В гнезде солнцу будет тесно?» – Ему ответили: «Дурак. Иди вымой руки». – Ему ответили: «Солнце само по себе, земля сама по себе».

Так и Саня, по рассказу матери, любил сидеть один на крыльце родного «царского барака» и молча наблюдать, как от заходящего закатного солнца розовеют бока и спины лошадей, гулявших в степи. Не из этих ли мгновений родилось уже более позднее признание: «...нужно быть готовым к тому, что останешься один». Не о родных и близких шла речь – о творчестве. Впрочем, «только индюки сбиваются в стада, орлы – одиноки»...

Духовную сущность Александра Вампилова определила семья – «школа человеческой этики». Саня был истинным интеллигентом в четвертом или пятом поколении, и жила в барачной комнате с «наследственной» копыловской и вампиловской библиотекой книг в старинных тисненых переплетах атмосфера высокой духовности, благородства и трогательного взгляда на отношения между людьми. И создавала ее прежде всего бабушка – Александра Африкановна Медведева, кровать которой стояла в доме за печкой, прикрытая ситцевой занавеской.

Замечательным человеком была попадья, супруга священника Прокопия Копылова! Уже на моей памяти Санины рассказы о ней. Имела Александра Африкановна два образования – педагогическое и музыкальное. Славилась в просвещенных кругах иркутского купечества как одна из лучших домашних учительниц. Была знакома с самим Львом Толстым и даже встречалась с ним в Ясной Поляне.

Прожила долгую жизнь – девяносто два года и встретила свой последний час незадолго до того, как младшенького и любимого внука взял в свои ледяные объятия Байкал...

В тот трагический февраль она и пришла на помощь дочери, оставив Иркутск и переехав в Кутулик.

Саню нежно любила, выходила с младенчества, он буквально вырос на ее руках под старинные мотивы песен и сказки, которых она поведала ему превеликое множество. Трудно даже и представить, как сложилась бы жизнь семьи без нее. Старшему, Мише, не было тогда семи, близнецам Гале и Володе по пять, Санечке несколько месяцев отроду. Галя считает – не выжили бы.

– Маме, ох, горько было – жена «врага народа». Слава Богу, судьба ее хранила, от папиной участи отвела, но ведь и на работу не брали. Спасибо директору школы Бадьеву – после многих месяцев мытарств пожалел нас, видимо.

Кто был он, безызвестный Бадьев, имя которого живет в семье Вампиловых вот уже более полсотни лет? Да и какая разница – «блаженнее давать, нежели брать». Добро помнится.

Как жили они все годы – военные и послевоенные, что оказались не слаще?

Мать в доме видели редко, в школу уходила рано, возвращалась, когда дети спали. Как сводили они концы с концами на одну учительскую нищенскую зарплату, – уму непостижимо.

Жили дружно – этого не забыли. Во время войны, когда дети были маленькие – держали корову, а то не выжили бы, это точно. По рассказам Гали, сено запасали сами: «Миша уже с десяти лет косил, а Володя и Санечка, хорошенький, кудрявенький, похожий в платочке на девочку, шли по лугу следом и подбирали граблями, которые еле держали в руках, а то и руками скошенную траву.»

Заготовка дров на всю долгую морозную зиму, огород, уборка по дому – все на детях. И вода, что носили с реки в ведрах на коромысле, – тоже.

Первое больше горе после потери отца – одиннадцатилетний Володя провалился в прорубь, пытаясь вытащить оттуда наполненное водой ведро. Выкарабкался на лед сам, но простудился, два года не вставал с постели, осложнение на сердце – так и не поправился.

Вспоминая те трагические дни, Галя качает головой: «Тяжело было, тяжело...»

Листаем альбом с фотографиями. Печаль и усмешка в темных Саниных живых глазах, упрямые скулы, копна буйных «пушкинских» кудрей. Широкие сатиновые шаровары, тапочки на босу ногу. Простая клетчатая рубашка, чиненная и

перечиненная бабушкой, телогрейка под названием «ватник», валенки, шапка-ушанка.

Снимки-настроение. Саня в кирзовых сапогах, кепке и ватнике, небрежно спущенным с плеча, в объектив попало вспаханное поле и старая береза. Другой снимок – берег Ангара, за его фигурой в темном, узком, наглухо застегнутом длинном пальто чувствуются всплески тяжелой холодной воды; еще один – стожок сена, подле подросток с вилами – глаза молодые и лучистые...

А эту фотографию – «во чистом поле три богатыря», я разглядываю особенно пристально – снимок, по-видимому, сделан в колхозе, в пятидесятые годы, когда студенчество вместе с горожанами были основной «тягловой силой» на полях страны.

Сидящий слева на белой лошади – Вампилов. По древнему обычаю, на белой лошади въезжали победители в полоненные города, но по преданию – конь Блед, бледный конь – образ смерти.

Что это? Пророчество? Случайность? Помните, у Вампилова: «Еще никто не застраховал себя от случайности. В случай верят, случая боятся, случая ждут. Случай, пустяк, стечение обстоятельств становятся иногда самыми драматичными моментами в жизни человека».

...Анастасия Прокопьевна вдруг вспоминает, как сын собирал по округе бездомных собак и кормил их. Во дворе их дома постоянно кто-нибудь жил из четвероногих друзей. Однажды пропала лайка по кличке «Черный», Саня несколько дней бродил по лесу, все звал, может, откликнется?

Природа заложила в него цельность и естественность, оставила на годы «сарафановскую» готовность включаться в игру, не рассчитывая, не выгадывая результат; умел понять другого и простить, если нужно, те досадные мелочи, без которых в дружбе, как и в жизни не обойтись. Способен был слушать и слышать, веря порой в отчаянии в лучшую человеческую сущность.

Чего не выносил – так это фальши и даже мало-мальской недосказанности в человеческих отношениях. С детских лет

жила в нем легкость, неуловимое очарование артистической натуры и в то же время какая-то загадочная сдержанность, которая влекла к нему. В том числе женские сердца...

А жил, как и все его сверстники – это верно. Учеба, «нелады с немецким», увлечение геометрией, ее «симметрией и гармонией», особенно стереометрией: «тут фантазия требуется»; футболом на горбатом пустыре с одними лишь футбольными воротами – границы других обозначали портфелями. Школьные импровизированные вечера с обязательными «гастролями» в соседнее село, походы по стремительным чистым таежным рекам, катание на лыжах с гор, хоккей на замерзшем льду алятского озера.

Но и «валять дурака было нашим излюбленным развлечением»...

Рукописные школьные журналы и газеты, что сохранились до сей поры, поражают не столько оформлением, сколько выдумкой, остроумием, вкусом. Галя, например, уверена – из Сани мог выйти неплохой художник – умением перенести свое мироощущение на чистый лист бумаги, он обладал с детства. Как и диалогом – точным, образным, емким. Рассказывает о смешном – сам не улыбнется, только в глубине темных глаз лукавинка. Так и на уроках отвечал – коротко, точно и сдержанно.

Любимый писатель – Чехов, а для него необходимы были слушатели. Сестра помнит, как Саня с томиком Чехова в руках и в окружении друзей-приятелей исчезал за деревьями сада, а через минуту оттуда доносился их громогласный хохот.

Он как бы «проверял» на слуху точность и лаконичность чеховского языка, «измерял» глубину подтекста, вслушивался в полифонию диалогов так же, как позднее «обыгрывал» перед однокурсниками только что придуманную или понравившуюся ему фразу.

С годами пришло понимание «Гоголя: «Вот кудесник!»

Матери помнятся долгие разговоры и споры о литературе уже после уроков в опустевшей школе при освещении пламе-

ни топившейся печки, дрова для которой ребята заготавливали сами – благо, сразу за степью начиналась тайга без края, без границ...

Учиться музыке было негде, не на что, а самое главное – не на чем. Пианино никто «в глаза не видел» не только в поселке, но и на много километров вокруг. На помощь пришла старинная «фамильная» гитара – домашнее предание сохранило память о театральных увлечениях прадеда из ссыльных поселенцев в этом неласковом краю. И вспоминают родные – над затихающим ночным поселком лишь всплески в реке сонной рыбы, крик ночной птицы, да звуки Саниной гитары: *«...когда ещё я не тил слёз из чаши бытия...»*

Особая любовь – музыкальная классика, с ее хрустальными звуками, как бы возносящими тебя над землей – Шопен, Моцарт, Глинка, Бетховен, романсы Чайковского, Булахова, Гурилева. «Людвига Иваныча» любил по-особенному, можно сказать, он был его страстью. Не однажды звучала со старенького проигрывателя «Героическая симфония», «Крейцерова соната», «Эгмонт»...

Это молодому Вампилову принадлежат слова, прочитанные мною в его записной книжке: «Бетховен не повторится. Чем дальше от Бетховена – тем больше человек будет становиться самодовольным животным, размышляющим лишь о том, как бы еще удобнее устроиться. Время Пушкиных и Бетховенов будет рассматриваться как детство человечества»...

Да, соглашаюсь я с Анастасией Прокопьевной, все, как обычно, все, как было тогда у многих его сверстников. Но ведь правда и в том, что подросших в тылу на воде-лебеде, потерявших отцов в мрачных застенках ГБ или на кровавых полях сражений, мальчишек и девчонок отличала духовная жажда добра и открытия мира.

Это поколение бессребреников – другого такого в тяжелой истории нашей страны уже не было. Может быть, и в этом истоки романтизма Вампилова, человека одновременного юного и умудренного, способного различить, где красота, где

пошлость, а где боль сквозь смех даже тогда, когда различать становилось все труднее...

Воздух, которым дышал Вампилов, был пропитан не только настоящим трав родной земли, но и русской литературой, ее совестливостью, чистейшими поэтическими образами, ее языком, в конце концов.

И надышался он им вволю.

Первый в жизни костюм – к выпускному балу. «Ночью мы выпивали со своими учителями, много торжественно курили, танцевали и подрались, и признались в любви, и похвастались, кто, куда и зачем уезжает. Физика манила в города, география подбивала к бродяжничеству, литература, как полагается, звала к подвигам.»

Был ранний июньский рассвет, солнце еще не взошло, белел туман, а мимо школы пастух гнал стадо. И они сонные, куражливые, в новеньких шевиотовых костюмчиках оказались вдруг посреди стада. Коровы испуганно стали разбредаться, Камашин защелкал кнутом, что их рассмешило, и сонливость в миг прошла. Они погуляли еще по улице, потом разошлись, а через месяц-другой разъехались.

Разъехались, чтобы увезти с собой память о речке, что вскоре высохла, и о степи за околицей, которую распахали до самого леса.

...В мыслях человека о покинутых местах, где прошло детство и юность, всегда присутствует грусть и «ощущение постоянной вины перед «малой родиной».

«Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный, – напишет он позднее о стране своего детства в очерке «Кутуликские прогулки», все дальше отдаляясь, но чаще возвращаясь к ней своими мыслями, как бы заново открывая ее для себя.

«Нет, что и говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным и нигде, если долгая непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы пахнут здесь сильнее, чем где-либо и

никогда я не встречал дороги заманчивей той, что по дальней горе вьется среди берез и пашен».

Он ушел по той заманчивой дороге навстречу своей судьбе восемнадцатилетним.

— Однажды сын поделился со мной о том, что задумал написать пьесу. Я выразила сомнение – по силам ли ему это? Он ответил не то, чтобы обиженно, но как-то невесело и отстраненно: «А ты, мама, не веришь в меня». – «Матери должны быть строги к своим детям», – только и нашлась, что сказать я. А подарив незадолго до гибели впервые изданного в Москве «Старшего сына», он написал на первой странице: «Дорогой маме от младшего сына». И по-хорошему попрекнул: «А ты, мама, не верила в меня».

Галя согласна с Анастасией Прокопьевной и тоже откровенна:

— Мы, родные, и вправду не видели в нем таланта. О себе говорить он был не научен, больше молчал, а наш Миша, человек дисциплинированный, даже ворчал, когда Саня, пропуская лекции, сидел в углу кухни, склонившись над тетрадью – я как сейчас вижу ее светло-коричневую обложку. Писать он начал уже в первый год после окончания школы...

— Помнишь, мама, флигелек в Глазковском предместье, заплатанный железными листами, чтобы не продувало зимой? – обращается Галя к матери. – Тот, в яблонево́м саду недалеко от «вороньей ро́щи»? Вы тогда сняли с бабушкой «угол» и жили там вчетвером с Саней и Мишей, а я вам еще свою двухгодовалую Олечку привезла.

Анастасия Прокопьевна согласно кивает головой. Конечно же, помнит – это был пятьдесят пятый, год поступления Сани в университет.

...«Предместье» – старинное русское слово и донны́е фигурирует в названиях иркутских районов, но в творчестве Вампилова оно приобрело еще и смысловую нагрузку – «ду-

шевное предместье человека», непарадная, тайная сторона души его.

«С той стороны уютное зеленое предместье, обросшее садами и аллеями, сползает к реке желтыми тропинками». Как часто он, припозднившись в городе, на дребезжащем звенящем трамвае переезжал ангарский мост, а затем легкими и быстрыми шагами поднимался в гору. Хозяйская усадьба стояла на горе, а вокруг флигеля, занимаемого Вампиловыми, рос сад с дикой яблоней. И это возвращение домой после занятий или дружеских пирушек в студенческие годы и позднее, сквозь прохладные темные ветки, задевая их висками, было привычным для Сани.

«...На тревожной земле, в этом городе мгlistом», по глазковским пыльно-зеленым улочкам и переулкам бродил с гитарой молодой Вампилов, напевающий песню на слова своего товарища, русского поэта Николая Рубцова, который еще в самом начале шестидесятых пророчески верил, что творчество его «дорогого человека на земле» «будет судить классическая критика» – такую надпись можно прочесть на сборнике поэта, сохранившегося в вампиловской библиотеке.

Часто имя Вампилова произносили рядом с именем Рубцова и Шукшина – в последнее время забыли их всех вместе. Но вспоминая, все-таки подчеркивали при этом, что Рубцов и Шукшин были «коренные» – род, родина, Россия были их неотступной болью, а мировоззрение Вампилова было моложе, что ли, и как бы не подозревало о «земном корне».

Думается, что это не совсем так. Жизненная «аура» Вампилова питалась Сибирью, а «Сибирь–Россия больше, чем сама Россия». И еще Иркутском, заложенным когда-то у ангарского порога, городом, рубившим стены острогов, осваивавшим неизведанные земли и создающим на протяжении веков быстрое богатство и могущество державы. Не зря умница Чехов, остановившись в гостинице «Амурское подворье», написал:

«Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск: превосходный город, театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы... Совсем Европа».

И Вампилов уже навсегда остался «прописан» своей жизнью, темой, болью в моем родном городе уникальной истории, неповторимой атмосферы, живых традиций. И если в местах действий и реалиях быта пьес «Провинциальные анекдоты» и «Прошлым летом в Чулимске», явно просматривается Кутулик, то герои его драм «Прощание в июне», «Старший сын» и «Утиная охота» живут в городе, хотя он и не назван, но ни для кого из иркутян не является секретом.

Нужно так знать провинциальный Иркутск, как знаем мы, родившиеся в нем, чтобы до конца почувствовать вампиловскую щемящую нежность к «маленькому» человеку из неказистых, дурных славой, но неизменных в своем обаянии предместий, где дома от старости уходят в землю вместе с оконцами, старинные храмы разрушены не столько временем – сколько человеческим варварством, канавы подле них, невесть зачем и когда выкопанные, заросли кустарником и полны всяческого мусора...

Кстати, названия драмы «Старший сын», по которому поставлен одноименный фильм с недавно ушедшим от нас прекрасным русским актером Евгением Леоновым в главной роли – Сарафанова, утвердилось у Вампилова далеко не сразу. Первое ее название – «Предместье». И даже спектакль, поставленный ленинградцами при его жизни, назван с разрешения автора «Свидания в предместье».

...Не так уж много нужно времени, чтобы обойти ту часть Иркутска, с которой связано действие вампиловских пьес, – Центральный парк, разбитый на месте Иерусалимского кладбища; Крестовоздвиженская церковь, ее однажды удостоил своим вниманием пьяный Зилов; в конце набережной общежитие университета и «общага на Красного Восстания», церковь – планетарий. То, что мы и не замечали порой в суете и мгновении дней – он переплавил в образы.

А это о себе словами главного героя драмы «Прощание в июне», приехавшего в город учиться: «Смотри, убрали состав, в-он он, наш городишко, набережная, университет... Пять лет назад я приехал в этот город, вышел из вагона и спросил, где

университет. Мне показали: в-он на том берегу. Я помню, как мне захотелось туда вплавь, напрямик, так не терпелось все это начать».

Ново-Мыльниково – предместье, где проходит все действие пьесы «Старшего сына» – «километров двадцать до города» и электричка, на которую опаздывает ее герой, легко узнаваемо в Ново-Мельниковском с его знакомым всем нам типичным обликом – соседством пятиэтажек-«хрущевок» с деревянными домами прошлого века...

Герои пьесы «Прощание в июне» Колесов и Золотуев «отрабатывают пятнадцать суток» под надзором милиции на кладбище, подлежащем закрытию. Это напоминает о судьбе старинного Иерусалимского, так бесповоротно и безжалостно решившейся как раз в год приезда Вампилова в Иркутск. Друзья-студенты, пришедшие к заключенному, вызываются ему помочь, чтобы побыстрее «вырвать увольнительную». И только один отказывается: «...здесь лежит мой дед» ...Поколение за поколением, принимая бездумно и жестко эту горестную эстафету, разрушало старые кладбища, а страх, как неизбежная расплата за содеянное, стал чуть ли не врожденным и вошел в гены – был жив он и у шестидесятников. Другое дело, что это поколение, в отличие от других, держалось, как на инъекции – глотке свободы, а не только на восторженном энтузиазме, унаследованном от отцов и дедов. И еще на упоении собственной молодостью, что понятно. Все это пьянило.

Но когда пришло похмелье, то оказалось – ГЭС лучше было не строить, целину не распахивать, кладбища не разрушать. Вампилов все это понял один из первых – еще до «похмелья»...

Образ церкви, оплота вековых нравственных устоев, в которой установлен механический аппарат, показывающий движение звезд и планет, отчего она получает у Вампилова приставку – «планетарий» – контраст между видимым и сущим, был мастерски «обыгран» им в «Утиной охоте».

Но «внутри планетарий, а снаружи все-таки церковь». Планетарий в Иркутске помещался в бывшей Троицкой церк-

ви – замечательном памятнике русского зодчества середины XVIII века. Помню с детских лет, в каком страшном аварийном состоянии она находилась многие десятилетия, только сегодня отреставрирована, планетарий, разумеется, выселен, а золотой куполок ее радостно сияет на фоне голубого неба, что соперничает с голубизной ангарской воды по соседству. А в дни, когда писалась «Утиная охота», этот прежде райский уголок города представлял собою страшное зрелище – развалины, заросшие бурьяном, сломанные кирпичи церковной ограды, мрак и нечистоты.

В этой церкви мечтает обвенчаться с Зиловым Галина: «Представь себе, мы поднимаемся по ступенькам, входим, а там тишина, свечи горят и так все торжественно».

Всю «Утиную охоту» пронизывает неутоленная тоска по красоте и чистоте отношений, острая потребность в истинных идеалах, вере, святине, судорожный, неумелый и подчас безуспешный поиск ее героями духовных ценностей...

К слову сказать, охота за «Утиный охотой» со стороны «сильных мира сего», напоминая то фарс, то трагедию, то комедию пополам с драмой, велась десятилетие.

Десять лет! А «ничего равного, – и это мое убеждение, – в послевоенное время советским драматургам написать не удалось. Это сегодня легко философствовать о пьесе Вампилова, давно ставшей классикой и обошедшей театры мира, на страницах как тонких так и толстых журналов. Но тогда, в конце шестидесятых, пьеса, прочитанная Вампиловым на семинаре молодых драматургов в Дубултах, меня потрясла», – рассказывает Зиновий Николаевич Сегель, более тридцати лет занимающий кресло-Голгофу заведующего литературно-драматическим отделом Рижского академического театра русской драмы.

«В ней впервые, как это ни парадоксально звучит, драматург заговорил не о системе, а о Человеке. Мое поколение воспитывалось на Серафимовиче, Панферове, Николае Островском, послереволюционном Маяковском – своеобраз-

ном научном коммунизме в прозе и поэзии, которая рассматривала эпоху с тенденциозно-классовых позиций, где если не в каждом абзаце, то уж на каждой странице глубокомысленно рассуждалось о роли народных масс в истории, строящих плечом к плечу светлое будущее. А тут... Про остатки прежней роскоши – интеллигенцию, загнанную системой в угол, обреченную в своих попытках самореализоваться».

Когда он привез с семинара пьесу в Ригу и показал ее министру культуры Латвии Владимиру Каупужу, тот, забрав единственный экземпляр «Утиной охоты», так и не возвратил, понимая, какую литературу ему принесли и вряд ли она увидит «свет». Министерство культуры Союза, с которым все без исключения театры страны были обязаны согласовывать свой репертуар, в категорической и откровенно циничной форме запретило не только ставить, но даже думать об этом «пасквиле на нашу жизнь».

И все же год за годом русская драма пыталась убедить Москву в своем праве на постановку, и каждый год ей отказывали, уже ссылаясь на то, что пьеса не имеет «разрешения Главлита». А «автографа» его величество цензор ну никак не ставил!

Помог счастливый случай. В семидесятом году иркутский альманах «Ангара» публикует пьесу и это дает основание рижанам вновь обратиться в управление уже с журналом в руках. Но аргумент, который привел в Москве начальник управления театрами, а в будущем и заместитель министра культуры, поразил своей абсурдностью.

Он сказал, что литературный и театральный «лит» – это две большие разницы: что может быть напечатано – не обязательно «может быть поставлено». И что вообще публикация «Утиной охоты» – «грубейшая политическая ошибка редколлегии «Ангары», с которой еще «разберутся».

Лишь после того, как Вампилова не стало, а в издательстве «Искусство» вышел сборник его пьес, Каупуж «без Москвы», на свой страх и риск дал добро на постановку «Утиной охоты» сразу в двух театрах – руководствуясь тем, по его признанию, что «в тандеме легче итти на плаху».

«Плаха» быть не замедлила. Русская драма старалась не афишировать будущую премьеру, а куратор прибалтийских театров в министерстве культуры СССР Вера Комиссарова сознательно или несознательно «не обратила внимания» на репертуарный план. Премьера состоялась, но Комиссарова со скандалом была снята с работы!

Последовал тотчас звонок Каупужу из Москвы – закрыть спектакль! Каупуж отказался, ссылаясь на прием зрителей: «прекрасно принят». Высокопоставленный чиновник срочно вылетает в Ригу.

Задержавшись в аэропорту, он «по стечению обстоятельств» так и не увидел спектакль русской драмы, а посмотрев его в национальном театре, трактовавшим Зилова, как законченного подлеца, столичный гость остался доволен, сказав при этом гениальную фразу: «Вот вам, товарищи, пример, как из антисоветской пьесы можно сделать советский спектакль». Как признался Сегель, «более идиотского резюме мне слышать не приходилось».

«Утиная охота», приговоренная цензурой к пожизненному заключению, не сходила с афиш русского театра драмы несколько лет, и каждый спектакль был событием, но «драматические коллизии» продолжали преследовать эту труппу – в один год погибают два актера – Боярский, исполнявший роль официанта Димы, и Сигов, игравший Зилова. Потери были слишком велики, «фатальны», и спектакль прекратил свое существование.

...Еще раз и последний я нарушаю свое повествование «очень личным»...

Мы учились с Саней Вампиловым в одно и тоже время, даже на одном историко-филологическом факультете, только на разных курсах, и чаще всего встречались в «фунде» – фундаментальной библиотеке университета, кстати, «распахнувшего свои двери» в октябре восемнадцатого, во время не просто великой смуты, но и гражданской войны в Сибири. Говорят, открытию университета в Восточной Сибири способ-

ствовал адмирал Колчак, нашедший вскоре свою гибель в ангарской воде – светлейшая Личность двадцатого столетия...

Книжный фонд библиотеки насчитывал почти сразу свыше трех миллионов книг, полученных из упраздненных советской властью учебных заведений – Иркутской Духовной семинарии, Мужской гимназии и Девичьего Института, существовавших не одно столетие и имевших не просто ценную, но редчайшую литературу, в том числе рукописную. Не забудем и книги, подаренные декабристами.

К слову сказать, уровень данного нам образования был достаточно высок, и не только из-за поистине бесценных книжных сокровищ, к которым имели доступ и мы, студенты, но и от постановки всего преподавательского дела. На своей «филологии» мы изучали не только литературу всех времен и народов, в том числе древнерусскую, а также, к примеру, и латынь и даже изъяснялись на ней при случае, гордясь при этом – вот, мол, «мертвый язык», а как завлекательно звучит! Помню лекции и даже классные работы, которые мы умудрялись «выписывать» по-старославянски; учили нас польскому и чешскому языкам, не забыли ввести даже украинский в курс обучения с непременно и обязательным чтением классиков украинской литературы в подлинниках.

Все это способствовало нашим знаниям, но в первую очередь воспитанию уважения к другим национальностям и народностям. Во всяком случае, шовинисты в своих рядах нас недосчитали – это точно!

А «фунда» и по сию пору находится в Белом доме на берегу Ангары, том самом архитектурном памятнике XVIII века, «доме с колоннами», где гостил после длительного пребывания на фрегате «Паллада» у хозяина дома, генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского, русский писатель Иван Гончаров, автор знаменитых «Обрыва» и «Обломова».

...В один из весенних дней, накануне сдачи очередного зачета, мы чинно сидим в просторном читальном зале с высокими лепными потолками, ужасно озабоченные и серьезные

в свои двадцать лет. Я «штудирую» Канта, приглянувшегося мне уж не знаю за какие такие заслуги в те юные годы, и, конечно же, не обращаю ни малейшего внимания на юношу в белой рубашке за соседним столиком. По правде говоря, он тоже не смотрит в мою сторону, склонив над книгой черно-волосую курчавую голову.

И все же в какую-то секунду неуловимым и загадочным женским чутьем я сознаю, что он заметил меня так же, как и я его, но не знает, как заговорить. Наши взгляды встречаются, в тот же миг я «изменяю» Канту и мы улыбаемся друг другу...

А за окном... О! И это обстоятельство было одной из причин, манивших нас проводить все свободное от занятий время в «фунде», – за окнами в Александрийском парке на берегу Ангары играет... да, да, он самый – духовой оркестр и головокружительные звуки вальса, смешиваясь с горьковатым запахом припоздалой, ослепительно белой июньской черемухи, врываются через высокие открытые окна, слегка волнуя светлые шелковые шторы и никого не спрашивая о разрешении, в зал.

...Памятник Александру III в Иркутске воздвигнут в начале века в честь окончания строительства Транссибирской Магистрали на том месте, где с одной стороны Белый дом, с другой – Девичий институт, и был единственным, посвященным этому историческому событию в жизни России. Император считался покровителем строительства.

Фигура самого Государя была величественна, а в нишах гранитного постамента – скульптурные портреты Ермака, Сперанского, Муравьева-Амурского – исторических деятелей Сибири и России. Красовался и двухглавый орел с распростертыми крыльями, а сам памятник был обнесен узорной решеткой, вокруг установлены на высоких столбах «пушкинские» фонари такого же чугунного литья. Красота!

В двадцатом, «по постановлению губревкома», фигуру царя сняли, увезли в неизвестном направлении, а обоснование всего этого варварства не выдерживает, как говорит-

ся, никакой критики: «Пьедестал, выполненный из красно-коричневого финляндского гранита во сто раз богаче скульптуры, для которой он предназначен».

Ко времени нашего студенчества остался лишь он, кованая чугунная решетка, а сам Александрийский парк – «приют задумчивых дриад», как называли мы его, был переименован в «сад имени Парижской коммуны».

Иркутску вообще повезло самым неожиданным образом «на Французскую революцию» – улицы Марата, Робеспьера, Баррикад, Маратовское предместье – все эти названия сохранились до сих пор. Парадоксальность и фантасмагоричность жизни нашей продолжается...

В пятьдесят девятом Александр Вампилов, еще занимаясь на пятом курсе университета, был принят в молодежную газету на должность ...стенографиста «с месячным испытательным сроком и оплатой, согласно штатному расписанию – пятьсот рублей в месяц» в исчислении пятидесятых годов, разумеется.

В этой газете, сохранившей по сию пору благодарную память о своем сотруднике, опубликованы его первые рассказы, одноактные пьесы и даже стихи, написанные иногда прямо на лекциях. Отсюда в шестьдесят втором он уезжает на свой первый семинар «драматургов-одноактников» в Москву – «литсотруднику А. В. Вампилову предоставлен отпуск в связи с творческой командировкой»; а в семьдесят втором газета публикует отрывки из последней незаконченной пьесы «Несравненный Наконечников».

Десять лет творчества были отпущены ему судьбой и все они так или иначе связаны с «Молодежкой»...

Редакция располагалась в центре города, на перекрестке путей-дорог, и с утра до позднего вечера в ней толпились «начинающие», дымили папиросами в длинных коридорах, приезжая туда прямо с вокзала из отдаленных районов. Это был своеобразный литературный клуб времен оттепели – волна журналистов обвалью хлынула в те годы в литературу.

Много ездили по Сибири – это и было не что иное, как «познание жизни».

Помню, Вампилов привез из командировки в Усть-Илим рассказ о купце, который позднее войдет персонажем в его пьесу. Не могу не привести отрывок из него:

«Уже был создан план ГОЭРЛО, а купец Яков Андреевич Черных был еще жив. Был жив и богат, хотя скрывал и то и другое. Последние годы бывший хозяин илимской тайги жил трусливо, но с надеждами... Как-то ему сказали, что он будет жив до тех пор, пока будет строить дом. Свой дом в Нижнеилимске он перестраивал бесконечно, всю жизнь».

...С приходом в газету, а в ней он «штатно» проработал пять лет! – Вампилов стал часто бывать в доме моей мамы, сибирского поэта Елены Жилкиной, – там я и подружилась с ним.

Вспоминает писатель Геннадий Машкин, автор многих хороших книг, в том числе «Белое море, синий пароход»:

«В те годы мы часто собирались в доме поэта Елены Викторовны Жилкиной, работавшей в «Молодежке». Но особой симпатией пользовался Вампилов, для которого хозяйка после родной мамы, учительницы Анастасии Прокопьевны, была второй матерью.

Там мы слушали воспоминания наших старших товарищей по перу, участвовали в их нехитрых «интригах» на ниве сибирской словесности, помогали устраивать быт, доводилось – ссуживали, но чаще занимали трешку-другую, слушали стихи, сами читали, пели под гитару, а то и разыгрывали ко взаимному удовольствию лукавые сценки-капустники».

Рассказывает моя мама:

– Я перешла работать в отдел пропаганды газеты, где занималась литературой. У меня был счастливый отдел. Сюда с первыми своими рассказами пришли писатели, имена которых теперь известны всему миру – Вампилов, Распутин, Машкин.

Редакция в шестидесятые годы была боевой по духу. Для газеты эта была пора расцвета, ее делала талантливая,

ищущая молодежь, бунтовавшая против всего «застывшего» в литературе. Мы сильно ругались на «летучках», но очень тянулись друг к другу. Великолепное у нас было товарищество! На праздниках собирались вместе, а праздниками для нас всегда были книги ребят, которые тогда выходили.

В те годы после долгого «умолчания» в столице были изданы Бабель, Платонов, Булгаков. Дошли до нас в переводах Ремарк, Кафка, Экзюпери, Олдингтон, Хемингуэй, Камю. Мы много говорили и спорили о литературе, ее прошлом и будущем.

Помню однажды Саша Вампилов, имея ввиду «проработку» моего творчества за «ахматовщину» после выхода печально известного Постановления ЦК ВКП(б) 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград», сказал: «Вам не надо писать пасторали. Вы пережили тяжелые времена – нужно писать об этом».

Весь доклад палача Жданова был пронизан ненавистью к интеллигенции, он переломил тысячи жизней. Благодаря характерному как для террора – так и для «застоя» «повторению», вся докладная чушь поддерживалась в течение десятилетий. «Обвиняемых» оставили на свободе, создав невыносимые жизненные условия и поставив на творчестве своеобразное «клеймо» – не печатать! – продлив тем самым действенность удара.

Вот и мою бедную маму, беззащитную по характеру, принимавшую безропотно удары судьбы один за другим, – исключили из Союза писателей, – а членский билет у нее подписан еще Горьким! – уволили с работу. На руках ее осталась я, ребенок и больная старая мать. Нас попросили освободить «в двадцать четыре часа» даже квартиру, которую мы занимали, и мама была вынуждена это сделать.

Потом она взяла меня за руку и мы пошли с ней по берегу Ангары искать пристанища. Там, в приютившей нас коммунальной кухни бывшей генерал-губернаторской прачечной – я и выросла, окончила школу и даже не безуспешно университет. Кормила же меня мама все это время на «пятерки» и

«десятки» от лекций «о русской литературе», которые она уезжала читать в любой мороз и непогодь дояркам и скотникам на отдаленные колхозные фермы...

Но самая главная «тайна» тех лет была открыта совсем неожиданно недавно. Бывший секретарь иркутского обкома партии по идеологии, «зарубивший» в свое время вместе с Саниным «другом» – предателем, известным сегодня в московских кругах литератором, драму – «Прошлым летом в Чулимске», – Вампилов ее даже напечатанной при жизни не увидел! – прижившийся в Москве еще за несколько лет до «разгона обкомов» Евстафий Никитич Антипин в доверительной беседе рассказал мне следующее, – ибо, поистине, «нет ничего тайного, что не стало бы явным».

Роясь в архивах иркутского КГБ «по долгу службы», он наткнулся на... мамино досье. В нем и сохранился подлинник доноса. «Кто вы думаете его написал?» – интригуяюще спросил он меня. – «Не знаю», – растерянно ответила я. Ведь мы с мамой искренне и, конечно же, наивно полагали, что «заклеймили» ее «по линии Союза писателей» – надо же было в каждой организации тогда «найти» «свою Ахматову»! И только.

«Кунгуров, – как мне показалось, с брезгливостью выпалил он, – сексот Кунгуров».

И я моментально вспомнила того самого, с позволения сказать, писателя Гавриила Кунгурова, которого все за глаза звали не иначе, как Г..но Филипыч, лауреата всех мыслимых и немыслимых премий, многочисленных книжных изданий, даже переведенных на немецкий, английский, французские языки, «члена президиума...» «члена правления» «члена иностранной комиссии при...», депутата...

Умеют ценить свои кадры гебисты – ничего не скажешь!

Темное имя Кунгурова связано и с арестом Саниного отца Валентина Никитовича Вампилова...

А у мамы сохранилось первое и единственное прижизненное издание «Старшего сына», где Саниной рукой написано: «Елене Викторовне, из рукава которой мы все вылетели. С благодарностью». И подпись: «Александр Вампилов».

...Известное чеховское:

«Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары. Погода чудная, тихая, солнечная, теплая. Я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров, мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероятно, после сидения в Иркутске и оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое, оригинальное.

Ехали по берегу, доехали до устья и повернули влево, тут уж берег Байкала, который в Сибири называют морем. Зеркало. Другого берега, конечно, не видел – девяносто верст. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые, направо и налево видны скалы, которые вдаются в море вроде Аю-Дага или Феодосийского Тохтебеля. Похоже на Крым. Станция Лиственничная расположена у самой воды и удивительно похожа на Ялту».

...Нет для сибиряка места священнее Байкала. Вот и Саня, если позволяло время, проводил его на море у своего дяди Владимира Никитовича, работавшего в промыслово-охотничьем хозяйстве. Детей у него и его жены Софьи Галсановны не было, и Саня чувствовал себя привольно в просторном доме под четырехскатной крышей с чистотой домотканых разноцветных половиков, от которых в летний зной исходила незримая прохлада, с вышорканными добела бревенчатыми стенами и книжными шкафами вдоль них во всех комнатах; наслаждаясь теплом и уютом деревенской избы.

Дом стоит на берегу залива, где когда-то во время землетрясения «провалилась» степь и возникло место с историческим названием «Провал». Мыс Провал. Позже образовались села.

Вампилов хранил в памяти эти «байкальские каникулы», где было «столько света, воздуха и зелени, что хотелось пасть в высокую траву и лежать, ничего не вспоминая». Когда же сумерки сменялись чистым светом луны над морем, «верховик приносил запахи влажной земли политых огородов, а тени от кустов скрывали таинственную жизнь, полную шорохов и движений», Владимир Никитович бросал во дворе на

пружинистую траву для племянника роскошную медвежью шкуру..

Не в те ли часы на этой поистине райской постели, устремив глаза в опрокинутое над головой вызвезденное небо, он чувствовал себя наедине с Богом? Не тогда ли, в минуты светлой печали, в нем росло убеждение в том, что «каждый рождается творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем – осталось после него»?..

Зная любовь Вампилова к славному морю – никто из друзей не удивился его решению купить на противоположном берегу от Лиственничной или Листвянки, как зовут этот поселок на южном морском побережье сибиряки, так приглянувшийся когда-то Чехову, – «свою» избу. К лету семьдесят второго у Сани, кажется, впервые появились пусть небольшие, но деньги от постановок пьес, а в порту Байкал образовалось нечто вроде «писательской колонии». И он решил это сделать немедленно, чтобы в тишине и покое, оставив суетливый шумный город, засесть вплотную за «Несравненного Наконечникова», рукопись которого ждала его на письменном столе...

Но хозяйка, облюбованного Вампиловым дома, соседнего с избой его друга, геолога Глеба Пакулова, за первую пьесу которого он больше всех ратовал на том известном читинском семинаре, давшем русской литературе сразу несколько имен, в том числе Распутина, – вдруг раздумала продавать до окончания сбора нехитрого урожая с приусадебного участка. Не случись этого – засел бы Саня за своего «Несравненного», гляди, и не отпустил бы его «Наконечников» на ту, последнюю рыбалку...

Утром семнадцатого августа спустились они с Глебом по Молчановской пади, взяли «общую» лодку. «Казанку» купил Глеб, мотор к ней Саня, – и поехали рыбачить вниз по Ангаре, решив загодя наловить хариусов и омуля для именинного пирога – жена Оля уже готовила тесто...

Да не задалась отчего-то рыбалка, хотя день поднялся яркий, солнечный, ведряный. Обратили внимание на плывущие

то там, то здесь полузатопленные бревна от плота, что разбил накануне в порту во время разгулявшегося шторма старик Байкал – они чистым золотом блестели на солнце. Их и потянуло течением на Ангару.

Уже повернули домой, но в последнюю минуту передумали и отправились буквально вдоль берега к Листвянке за вином к праздничному столу, может кто из знакомых окажется на берегу, поможет.

– Саня сидел на руле, я на носу, – рассказывает Глеб. – Не могу до сих пор себе этого простить, ведь я был поопытнее, а Саня – известное дело, – лихач-кудрявич, в штормовке, грубом свитере, туристских ботинках, ну, прямо, мореман.

Скорость держали отменную, «Вихрь» это позволял. Кто-то махал нам рукой с берега, потом выяснилось – художник Гутерзон. Мы уже подходили к санаторию, пора было сворачивать к берегу, но тут вдруг Саня окликнул меня, попросил закурить.

Дальше... удар, я в воде, перевернутая лодка рядом, я сразу хватаюсь за нее, а она рвется из рук...

Саня плывет к берегу. Я кричу:

– Плыви, Саня, плыви...

Сам уцепился намертво за перевернутую лодку, одежды на мне много, чувствую, не дотяну до берега. А Саня все оборачивается и смотрит, плыву ли я.

Вижу на берегу стоят около белой «Волги» люди, покуривают, наблюдают за нами. А Саня все тяжелее и тяжелее плывет, но плывет...

И вот он встал на ноги, высоко поднялся над водой – несколько метров до берега – их не только проплыть – пройти можно и... Последнее, что я запомнил – он вдруг упал на спину, скрылся под водой, а... на берегу машина в ту минуту быстро так укатила...

Как меня отрывали от лодки – помню смутно, рассказывали, что еле оторвали от нее мои холодеющие руки. Саня уже лежал на берегу, его пытались откачивать – нечего было

откачивать – разрыв сердца от перегрузки, от неожиданного дна под ногами, от ...жизни такой жестокой.

Очнулся я в поселковой больнице. Врач говорит: «Дружок твой жив, а ты выгребай». И я опять провалился. Пришел в себя, когда уже ближе к ночи примчались на машине Марк Сергеев, Распутин, Шугаев. Это я в беспамятстве телефон Марка вспомнил, он и ребят собрал.

...Мы с Саней отвлеклись, вот и просмотрели топляк, со всего маху врезались...

Потом Пакулов бился в истерике, клял судьбу, что оставила в живых, пил «по-черному» многие годы, все просил прощения у Господа Бога – за что?

Поздно.

А я все вижу воочью – герои его драм стоят на берегу всего в нескольких метрах от него, тонущего, – ближе, чем зрители к театральным подмосткам, и спокойно, но не без интереса и любопытства наблюдают, как в береговой тишине и плеске волн, он тяжело плывет, уходя через каждую минуту под воду.

Обыкновенные люди, не плохие и не хорошие, ибо «грань между светом и тьмой чаще всего проходит через сердце одного и того же человека».

Но почему-то так и хочется сказать – обыкновенные подлецы. Ведь даже тогда, в ту самую минуту, когда Саня упал на спину в воду, а «Волга» поспешно умчалась в сторону города, они продолжали, не двигаясь с места, досматривать «действие» до конца.

«Действо» последней вампиловской драмы.

Среди них была четырнадцатилетняя девочка. Я разыскала ее, уже молодую женщину, нынче в Иркутске и она подтвердила мне все, что здесь написано.

В ту ночь ревел и бушевал Байкал, бил о сваи, выбрасывая кипящие тускло-белые брызги на берег. А в низеньком и полусыром чулане сельской больницы, где не было даже обыч-

ной, еле мерцающей лампочки, на деревянной лавке лежал Вампилов. Нянечка перед дверью зажгла свечу – сомнений больше не оставалось, это был он – запутавшиеся водоросли в темных кудрях, водоросли на руках и шее.

«Затеpleм памяти свечу» и мы...

Обряджали его в морге две женщины – согбенная старуха в подвязанном по-вдовьи платке, так много повидавшая на своем веку, и прелестное юное создание, кажется, студентка медицинского института.

...В последний путь вышел проводить весь город, образно говоря. И думали тогда все, я уверена, об одном – нет ничего горше и обиднее нелепой и бессмысленной потери, и надо быть добрее друг к другу, потому что потом бывает поздно...

Гроб от Дома литераторов до драматического театра имени Охлопкова, где состоялась гражданская панихида, братья-писатели несли на руках, и улицы были устланы – без преувеличения, – алыми, белыми, сиреневыми цветами ранней сибирской осени – астрами.

Запомнилась странная, на первый взгляд, деталь – Санины ноги обутые в штиблеты невероятно желтого, режущего глаз, цвета и выглядывавшие из-за низких стенок гроба. При жизни у него таких «новых» не было, все было беднее и скромнее.

Музыки тоже не было. Его самый любимый герой – Сарафанов в тот скорбный день не «работал», не играл на похоронах, помнилась лишь печальная улыбка Вампилова, создавшего его образ.

Похоронили Саню на Радищевском кладбище.

«Трагическая гибель его, случайная тем, что она произошла и именно там и именно тогда, сама по себе не была случайной, и это трудный, с застарелой отдышкой разговор: почему мы не ценим по достоинству талант, пока он с нами... И словно какая-то посторонняя сила, жестоким образом, наводя высшую справедливость, наказывает нас». Это слова Валентина Распутина.

К великому сожалению, гибель Вампилова не примирила, не успокоила страсти в иркутском писательском доме, а скорее даже наоборот – с его уходом появилась неизвестная там доселе ненависть друг к другу, раздор, разлад, зависть и многое другое, о чем и говорить не хочется – это особый, тяжелый разговор, для него я уверена, еще настанет время. Как будто только Саня, а никто другой, создавал климат добра и соучастия...

Но из всех героев Вампилова только его самого постигла внезапно трагическая смерть. И смерть эта собрала в фокус и осветила все им сделанное и написанное.

...Через несколько лет вышел в открытое море теплоход «Александр Вампилов», напоминая невольно знакомые нам со школьной скамьи строчки пролетарского поэта: «...воплотиться в пароходы».

Прежде, чем проложить путь от истока Ангары до бухты Песчаной с началом очередной навигации, он «прошел» до Байкала долгую дорогу оттуда, где был рожден – сначала по Дону, потом по Волге, затем по северному Ледовитому океану, Лене; а через крутые горные таежные перевалы его «протащили» волоком.

И вот накануне выхода в море, в ожидании праздника, внезапно умирает... капитан, который должен был стоять у штурвала первого рейса «Александра Вампилова».

Праздника не состоялось, пресса умолчала, кто-то увидел в этом «знак высших сил», и было неуютно...

Каждый год в эти августовские дни Иркутск плачет дождем, а актеры Театра юного зрителя, носящего имя Вампилова, но забывшие – увы! – постановки его пьес в последние годы, непременно посещают Радищевское, а после идут в то самое актерское общежитие на «поминальный ужин», куда частенько заглядывал к ним «на огонек» Вампилов. А они, по простоте душевной, и сказать честно, не очень веря в его талант, могли запросто хлопнуть по плечу, подвигая рюмку.

Саня опускал при этом голову и молчал. Не от сознания своей значимости, нет, а оттого, что не выносил запанибратства. При всей своей неподдельной искренности в отношениях между людьми и мягкой доброжелательности, по манере держаться и вести себя в обществе он был аристократом в самом лучшем, забытом смысле этого слова.

...В год двадцатилетия со дня гибели Вампилова заведующая литературной частью ТЮЗа Галина Солуянова рассказала на страницах молодежной газеты следующее:

«Когда мы пришли на кладбище, то увидели – могила убрана, цветы посажены, кто-то был до нас, оставил букет астр и георгин. Мы поставили корзинку с розами, а одна из нас, освобождая место для нее, прикоснулась к банке с букетом и та... рассыпалась в ее руках, на которых показались капельки крови...»

В том же девяносто втором – любят у нас круглые даты! – на крутом байкальском берегу, в нескольких милях от места, где сомкнулась вода над Саниной головой, был воздвигнут мраморный обелиск.

Были торжественные речи, – а как же без них? – и столичные знаменитости – актеры театра-студии Олега Табакова, чьи гастроли в Иркутске совпали с этой скорбной датой; и, как водится, должностные лица – писатели, журналисты, театралы и даже спонсоры – разве можно без них в наше трудное время?

Жужжали камеры, щелкали затворы фотоаппаратов, выступающие подыскивали нужные слова, благодарили друг друга за участие, а некий биржевой союз за деньги на памятник. Словом, все было как всегда в нашем государстве, пышные сборища по поводу и без. Правда, примета времени – посещение Никольской церкви в Листвянке и поминальная трапеза в ресторане – светлые поминки или день рождения? Вампилову бы в этот день исполнилось пятьдесят пять...

...А я приехала к обелиску через год с небольшим, одна, без шумной толпы, которую, грешница, не люблю, несмотр-

ря на все ее добрые намерения, как понимаю. Но больно уж суетливо, помпезно, что ли – Саня бы не одобрил.

«Дул октябрь ветрами», Байкал, – а о нем мы, сибиряки, говорим как о живом, – был беспокоен, но и не ревел и не вздымался на дыбы, как бывает в это время года в предчувствии безжалостной зимы, сковывающей льды. Над морем висели тяжелые рваные тучи и противоположная сторона иногда ясно просматривалась сквозь их просветы хрустально-снеговыми вершинами.

Камень-памятник Вампилову из белого мрамора с голубоватыми, как волны моря, прожилками, и таким, «в камне», я впервые вижу Санино лицо, обращенное в сторону Иркутска.

Я иду по берегу и все пытаюсь поскорее подойти к нему поближе, но порывы остервенелого ветра рвут платок, которым я безуспешно стараюсь прикрыть голову, и надувают парусом надо мной. А я все равно убыстряю шаги, почти бегу так запоздало Сане навстречу, а он все отступает и отступает от меня, как во сне...

Наконец, на минуту стихает ветер, и я явственно вижу перед собой, как ледяные брызги, ударяясь о мрамор, скатываются по его лицу.

– Здравствуй, Санечка...

Великая моя, доверчивая провинция, боль и любовь моя. Не ты ли дала России не только великую литературу во все века и времена, но и великое достоинство и в горестях и в бедности высоко нести голову? А Сибирь и крепостничества не знала, а потому холопства и угодничества не вкусила и свободомыслием всегда была сильна.

И живет до сих пор на земле моей мятежный дух протопопа Аввакума, гордая непокорность декабристов, нашедших там свой последний приют, чистота помыслов польских сосланных революционеров, так много сделавших для благоденствия родины моей, кровь которых почти в каждом из нас, ныне живущих. И перемешана та кровь «на сто рядов» – рус-

ская, польская, литовская, еврейская, бурятская, цыганская, татарская, эстонская, венгерская, чешская.

И сильны мы этой кровью и гордимся ею.

Великая моя провинция. Ты и в смуту и непогоду снова спасешь Россию. Низко кланяюсь за все тебе я...

Покидая Иркутск – в который раз! – я не отрываясь смотрела вниз в иллюминатор ТУ-154, стараясь запомнить стремительно убегające от меня крыши домов, неровные линии проспектов и площадей, черные избы предместий. Вот уже промелькнул золотом куполок Троицкой церкви, где так и не обвенчался со своей невестой Зилов, мост через Ангару, заснеженный ее берег...

Сердце сжималось от тоски – когда еще увижу Анастасию Прокопьевну?

«И нет конца мелодии прощальной»...

*Иркутск – Москва.
1992 – 1994 гг.*

Александр Големба*

«Мироздание» Клейна

Литературное эссе

Когда-то, в дни моего отдаленного детства, в городе Харькове, на Малой Гончаровке, я прочитал «Мироздание» Клейна; точного названия уже и не помню, а, впрочем, оно легко установимо.

Меня поразили интереснейшие картинки, сэр Джон Гершель у громадного телескопа, портреты Кеплера и Тихо де Браге, замечательное по плотности кольцо Сатурна и каналы на Марсе по Скиапарелли.

Когда-то, в дни моего далекого детства, на этажерке стоял барабан Шиммельбуша и павлиньи перья, и крашенные ковыли декоративно колыхались в снаряжных гильзах.

Когда-то, в дни моего отдаленного детства, безвозвратно, как сказал какой-то классик, – в городе Харькове, в пределах прямой видимости громоздились две отлично оштукатуренные тюрьмы, два централа или два тюремных замка: одна тюрьма стояла на высоченном холме, другая – пониже – на плато. Это было давно, и одна из этих тюрем была снесена, по отсутствию необходимости...

Когда-то, в дни моего золотого детства, в дни еще нестарого Утесова и «золотухи», мягко пружинили шины веломашин-

* См. «Грани» № 227, 2008, стр. 64. А. Големба. Слово о поэте Т. Бек.

ны «Латвело», с превосходнейшей сеткой на заднем колесе, под никелированным щитком с ручным тормозом.

Из подвала выбегали какие-то ошалелые ребята, малолетние хулиганы – Карапет и Никитка. Мадам Старосельская убегала к соседям от мужа, Пети Старосельского – доктора, морфиниста, красивого блондина, несомненно, дворянского происхождения. Петя потрясал дамским браунингом, но все это было больше *театром* для себя.

Потом возвращался ветер на круги свои. Карапет и Никитка исчезали в своем подземелье, Петя Старосельский мирился с супругой, дамский браунинг оказывался фундаментально незаряженным, а престарелый ухогорлонос – профессор Тромбицкий, удивительно похожий не то на Пастера, не то на Генриха Манна, рассказывал какие-то старомодные анекдоты.

Это было в эпоху велосипедного бума, когда еще и не помышляли о собственных автомашинах, и рогатый «Дюркоп» с карданом вместо цепной передачи казался верхом материального взлета. Римский папа грозился крестовым походом. В широких витринах спортивного магазина торчали манекены в противоипритных костюмах и резиновых противогАЗах, пахнущих калошей. Милиция разъезжала на «Харлей-Давидсонах», светло-зеленых мотоциклах с коляской, – были еще мотоциклы «Индиана», с пернатым индейцем, и поразительные велосипеды «Три ружья».

Но прельстительнее всего и незабвенней в эти дни моего невозвратного детства была пухлая «Астрономия» Клейна, от которой сладко и жутко сжималось сердце отрока, даже еще не подростка. Это были миры, громоздившиеся над мирами, а над теми мирами – еще миры.

С отрывного календаря глядел Климент Ворошилов, скакавший на веселом жеребце, ширококостном, но легконогом, с бабками, белыми, как сливочное мороженое. А сердце сладостно сжималось и уплывало куда-то по немислимым каналам Скиапарелли, – в миры астрономических невероятностей.

До мировых событий оставалось не так уж много, — но в кино еще шли немые фильмы; обрывки каких-то боевиков двадцатилетней давности, — мы еще не знали песен Дунаевского, а пели — «Замучен тяжелой неволей» — и знаменитое — «По долинам и по взгорьям».

Патефон еще казался подозрительно буржуазным, но на внутренней стороне его крышки была фабричная марка: фокстерьер прислушивался к граммофончику с прямой трубой. На подоконнике лежал Кушнеревский «Демон», если не ошибаюсь, с рисунками Врубеля. Демон был чуточку похож на Бориса Пастернака или на самого Михаила Юрьевича Лермонтова, — и он как-то сочетался с «Мирозданием» Клейна, испещренным невероятностью астрономических чисел.

Я попал на гастрольный спектакль «Гостима», и, кажется, видел самого Мейерхольда, вышедшего на вызов в мешковатой толстовке. Это был сутуловатый пожилой интеллигент, выше среднего роста, с лицом «исполненным брюзгливой скорби»; спектакль был скрипуч и далек от изящества, но в немой сцене оставались недвижные куклы, недвижные куклы в человеческий рост, и, как это ни странно, это было сделано чисто.

А на смену Мейерхольду из Ленинграда явился Николай Петров или бывший Коля Петров, с целой своей питерской труппой, со старухой Мильтон и с красавцем-мужчиной Михайловым.

Спустя много лет я увидел этого красавца-мужчину в довольно затрапезной московской химчистке, — он был уже стар, и глаза его погасли. Но в те времена, на чеховском спектакле, все были очень довольны похожестью бутафорского вишневого цветения, а также тем, что спектакль идет на общепонятном русском языке, а не на вымученном украинофильском наречии, рассчитанном на галицийских русинов, но не совсем понятном даже исконным харьковцам, которым был привычнее отверженный «суржик».

Это был мир, воспринимаемый отнюдь не шутейно, и «Астрономия» Клейна, в картонном переплете, оклеенном

бумагой под мрамор, и опыт Фуко, и множество других наукообразий великолепно терзали мою неокрепшую душу.

Не знаю, право, стал ли я поэтом, но ежели все-таки, в какой-то мере, я приближаюсь к общепозэтическому стандарту, то отчасти этому виной «Мироздание» Клейна и потрясающая история Галилео Галилея, чье имя еще не связывалось тогда со славным именем Бертольда Брехта, о существовании коего я узнал лет пять спустя из нетолстой книжки Сергея Третьякова, озаглавленной «Люди одного костра».

Это было жестокое и благословенное время, это было сумбурное и благословенное время, летящее в будущее, в грядущее, подобно комете, и останавливающееся где-то на рубеже, на переломе, на старте, в ожидании, когда диктаторы генерала Франсиско Франко произнесут на свойственном им кастильском наречии пресловутую сакраментальную фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо!»

Сухость сентября

Как мне передать ту сухость сентября, тот особенный горьковатый дымок, то высокое, золотистое, вернее, – пронизанное солнечным золотом небо, – не Малороссии, а Слободской Украины, – то небо, что распростерлось над моим детством?

Был сентябрь, – и тротуары звенели от наших шагов, нет, от наших семенящих шажков, – и в классе рядом со мной сидела девочка – дочь каких-то ремесленников – прекрасная сапожница – со сложной армянской фамилией – Тер-Ованесянц.

А на квартире моего тогдашнего приятеля на столе лежала удивительная – и модная тогда – книжка испано-английского автора (испанца, писавшего по-английски) Сальвадора де Мадарьяги – «Священный жираф».

Мне запомнился еще «Квентин Дорвард» – Вальтера Скотта со старыми гравюрами, но в новом издании «Молодой

Гвардии», в переводе, кажется, Мандельштама и Лившица. Вообще, имя Мандельштама, как это ни странно, сопровождало все мое детство, хотя взрослые его стихи я, естественно, прочел куда позже. Но помню: – «Не бойся, тронь, я электричество, холодный огонь!» и «покупали трубачи на базаре калачи и достались в перебранке трубачам одни баранки».

Помню еще очень красивую – большеформатную – книжку о «Винтике-шпунтике» с превосходной густо-синей турбиной, – текст, кажется, Агнивцева, чьи рисунки, не помню.

Недалеко от нашего дома в большом железном эллинге – гофрированное железо, времен первой войны, располагалось нечто вроде постоянной выставки сельскохозяйственных машин. Можно было взобраться на трактор, устроиться, поерзав, на дырчатом его – красном или оранжевом – сидении с физиологическим изгибом под сидалище, вроде велосипедного седла, но только раза в четыре больше, и наслаждаться, воображая себя – кем? Летчиком, пожалуй.

Это был мир вельветовых курточек и чулок в резинку, – резиновых тапочек с белым и синим верхом, жалких дамских шляпок валеночного фетра, с какими-то стеклянными бусинками и булавочками, – все это было какое-то нахохленное и неестественное. Вещи сидели принужденно.

Мужское пальто с подложенными, подбитыми ватой плечами, – женские зимние пальто из бостона или габардина, а то и просто – шевиота, – с какой-то ужасной фигурной кокеткой, – резиновые ботинки, – экспортные, – их, мол, хотели отправить за рубеж, но торговые партнеры отказались их купить, – жестяные застёжки на этих черных резиновых ботинках, – белые (оренбургские, кажется) платки.

Эпоха непринужденно сидящих носильных вещей еще даже и не начиналась. Особенные пижоны ходили в кожаных регланах и крагах бутылочками. Венцом премудрости были детские книжки ленинградца Перельмана, брата беллетриста Осипа Дымова.

Диван оббили серо-зеленым дерматином с разводами, – он издавал упоительный клееночный запах, – я поджимал ноги

и читал какое-то произведение Николая Чуковского – не то о капитане Джеймсе Куке, не то – «Водители фрегатов».

Было странно, что я читал Чуковского маленьким мальчиком, а когда встретил его живого – я был уже не слишком молод: разница в возрасте сгладилась. Жизнь казалась беспредельной, бесконечной, – время в детстве вообще не существует в его ощутимости, – оно, скорее, вектор или обещание.

Фантастические романы о космических полетах – а они уже были модны тогда! – казались абсолютнейшей сказкой, – никто и не думал о том, что все это может сбыться при нас.

Музыка

Пишу о старом, старом пианино, иль фортепьяно; ящике Пандоры на роликах. О старом фортепьяно, с подсвечниками столько лет пустыми, с немецкой надписью на черном лаке, чуть потускневшем: *Густав Фидлер, Ляйтциг, Хофлиферант*, что значит *Поставщик двора*.

Пишу о старом пианино.

В нем множество надежд погребено. И я б назвал его, пожалуй, братской могилой нерожденных виртуозов. Оно совсем тихонько дребезжало и никогда не знало наизусть того, что разучить мне полагалось.

Мне, кстати, полагалось целый час на нем играть, но это слишком обременительно в мои года. На пианино я будильник ставил и норовил, подкручивая стрелки, немного сократить безмерный срок.

Потом – спиной – я чуял звук замка английского. Мать уходила. Я один в квартире гулкой оставался. Тогда будильник с крышки убирал я и тяжкую доску приподнимал.

Как сладко пахли недра фортепьяно! Бог знает чем: колками, нафталином, нагретой пылью, музыкой, забвеньем, «Молитвой девы», «Песней Сольвейг», детством иль «Елкой»

Ребикова. Это было наивной верой в неподвижность века и в то, что вечен Ребиков. И в то, что мы так и будем ласково чирикать, перебирая Грига, словно четки.

А время шло. Оно в архив сдавало слепые сладкозвучья душных комнат, и перед ним лишались языка обтянутые фетром молоточки.

Я крышку опускал без сожаленья и, крепко нажимая на педали, играл, играл без усталости и нот какие-то печальные напевы, унылые – не знаю почему, я никогда не мог в мажоре, хотя Господь – свидетель, я хотел играть повеселей и побравурней! Вот почему не стал я виртуозом.

Но и доселе я люблю погладить чуть потускневший лак, люблю пощупать широких теплых клавиш желтизну и выпуклость диэзов и бемолей. О, память детства! Ветхий *Густав Фидлер*, погребены мои святые годы в твоей навек умолкнувшей груди!

Без сожаленья я тебя покинул и побежал в кино. Франческа Гааль изображала Петера; трещали простые немудрящие фокстроты; нам было сразу весело и грустно, как в самой ранней юности бывает.

Пел мнимый Петер, а над головами, пылинками набитый доотказу, потрескивал голубоватый луч, а в хронике метались по экрану отряды босоногих абиссинцев, и к небу дуче руку воздымал.

Давным-давно повис вниз головой брылястый дуче в городе Милане, давным-давно отпел фокстроты Петер, а фортепьяно ветхое, как прежде, подсвечниками тянется ко мне, нелепыми руками из латуни.

А мне другие суждены отрады, а мне печали суждены другие, и время, пронизавшее меня, никак не хочет воплощаться в звуки; иль в рокоты учтивого прибоя, – оно хитро и жадно ищет слов, и те слова ищу я. А они сокрыты в недрах древних лексиконов и в мудрости еще незримых губ, – но лексиконы эти выплывают из омутов, но эти губы зреют, но эти гроздья спелых виноградин висят над нами: как созвездья дня.

И музыка живет вдали от нас и в нашем сердце. В скрежете трамвая и в приближении пыльной электрички, и в марме вечернего метро.

Она везде, и мы ее не можем не уловить, но хрупкость наших слов ее объять почти не в состоянии, ведь в чашечке фарфоровой не может встать огнедышащий свинец.

Вот почему не стал я виртуозом.

Прости мне, если можешь, Густав Фидлер, Хофлиферант на роликах могучих, прости мне, черногрудый мой маэстро, закапанный слезами стеарина в блаженных девятнадцатых веках!

Я пробуждаюсь. Музыка колдует. И я не знаю, как ее назвать: грехопадением? Музыкаю сфер? Иль болью той, которую Бетховен когда-то принял за обвалы страсти и дерзостной рукой запечатлел на частоколе девяти симфоний?

Так что же мне осталось, Густав Фидлер? Пощупать прочность твоего оскала? Или рукой небрежною стряхнуть грозиво-сизый пепел сигареты в опустошенно-нищенский подсвечник, в никчемный твой надраенный подсвечник, доверчиво протянутый ко мне?

Свети-Цховели

Свети-Цховели, старая церковь, Свети-Цховели, – долго плутали мы, плакали долго и пели. Свети-Цховели, одна ты, должно быть, на свете, возле Тбилиси, в пыльной и ласковой Мцхете!

Долго плутали мы, плакали долго и пели, – в долгих скитаньях одной только песней владели, – в долгих скитаньях, в раздумьях беспечных и здравых, там, где ты, Свети, стоишь на некошенных травах!

Старых царей твоих, витязей сумрачной кручи, здесь погребли по приказу маркиза Паулуччи, – не упомянут в грузинских задумчивых песнях этот беглец и пришелец, и царский наместник!

Свети-Цховели, одна ты, одна ты на свете, старая церковь в печальной и ласковой Мцхете, – старая церковь, одна ты на свете такая, вот почему не дряхлеешь, сердца привлекая.

В этих краях не гудят голубые метели, – кроткое солнце вползает в зазоры и щели, небо ночное роскошней иных фейерверков, словно теплица – Тбилиси в межгорном пределе, – дремлет Мтацминда, тревоги давно отгремели...

Только сильнее всего по душе мне печальная церковь, старая церковь, давно позабытое пламя, звонницы будто с картонными колоколами, возле теплицы садовника Мамулашвили, – старая церковь, ее мы еще не забыли, старая церковь, ее мы забыть не сумели, – светоч очей моих, сизая Свети-Цховели! Свети-Цховели, одна ты такая на свете, – старая церковь в печальной и ласковой Мцхете!

Словолитня Ревильона

Где была во время оно Словолитня Ревильона, там уж нет ее теперь: там гудят иные липы, там иной фрамуги скрипы, там иные линотипы, и не так оббита дверь.

Но в строки свинцовой оголь был одет когда-то Гоголь, Достоевский, Салтыков. И остались буквы эти в керосиновом просвете, в голубом фонарном свете до скончания веков! Нет ни скорби, ни пропажи; вновь сочны полотипажи, а бумага – чуть желта, – вновь плывешь в тоску-неволю сквозь шестнадцатую долю иль тридцать вторую долю благородного листа! Есть бессмертие в журналах, в копошеньи этих малых жирных буковок и литер, в мельтешеньи этих строк. Вот и шепчешь ты влюбленно: «Словолитня Ревильона!» – было то во время оно, но пошло, однако, впрок.

Словолитня и аптека девятнадцатого века, – все терзанья человека в дебрях этих трудных лет! Если прошлое тревожит, кто сказать об этом сможет? Разве все в поэму вложит некий истинный поэт?! Фантастические миги, где романтики-рас-

стриги боль преображали в книги с бескорыстностью смешной; буквы, шпации, пробелы, «Приключенья Арабеллы», – страсти легкие пределы дышат прежней новизной! Было то во время оно: *Словолитня Ревильона*, было то во время оно, не сегодня, не сейчас... Отчего же строки эти, в потайном вечернем свете, вновь у сердца на примете, сызнова тревожат нас?

Словолитня Ревильона, Словолитня Ревильона, голубой светильный газ!

* * *

Мне часто снится книжный магазин, тугих обложек пестрые обнови, на стеллажах и Стерн и Карамзин, и даже мемуары Казановы – на улице какой-то боковой, вдали от шума похоти и страсти, в какой-то, ну совсем не деловой, полузабытой гражданами части.

Мне кажется, я в нем уже бывал, а если нет, то как могло случится, что я запомнил ласковый овал лица светловолосой продавщицы?

Витрины там, как тусклая слюда, а книги хороши невыразимо, и я хочу туда – но вот беда! – на свете нет такого магазина. Не целовал я этих серых глаз, и к туфелькам не ластился осотом; я полз, как одичалый верхолаз, по разным геральдическим высотам.

Качались клювы в темном серебре, и облако над башнями качалось, и расточалась ночь – и на заре привычная история кончалась: на миг – приостанавливался миг, и съеживался сребротканый полог, и тысячи – уже ненужных – книг – летели в печку со скрипучих полок.

* * *

Во имя вселенского блага и вечного солнца в груди, отвага, отвага, отвага деянья мои береги. Веди меня снова и снова, к молениям и пеньям глуха, на штурм первозданного слова, за хрупкие грани стиха. Готовь мне великую радость,

спокойного мужества дни, а приторность, вялость и сладость безжалостно взашей гони!

И это не метеосводка лазурно-безоблачных дней: поэмы дурманят сильнее, чем ром или петровская водка! Но только изменятся пусть, чтоб не было с лирикой слада и чтоб неподдельна – отрада, и чтоб не наиграна – грусть! И чтоб за такой лексикон одна объявилась расплата: идти, как факир, босиком – по гневным оскалам булата!

Шипучее бешенство пен и привкус грозы и железа пусть вложит грядущий Шопен в печаль своего полонеза. Пусть рушатся в оползни строф, в ритмических зреют повторах и месяц, который багров, и влажного гравия шорох.

Слагать за сонетом сонет? Сцеплять филигранные звенья? У мужества времени нет, «нет времени у вдохновенья!» Оно – как предел торжества, как высшего творчества участь, – но есть и тупые слова, как дачной калитки скрипучесть. Слова равнодушной струны, слепой отголосок стихии, – но нам-то они не нужны: важнее нам судьбы людские!

Приходишь с волшебным жезлом, как муза, румяна с морозу, чтоб выдал волшебный излом – каррарского мрамора розу! Вот мускула смелый изгиб, вот профиль – и, кстати ль, некстати ль, – из этих бесформенных глыб взмывает великий ваятель.

Он молот берет – и потом, живой теплотой золотея, поглаживает долотом проснувшуюся Галатею. Глядит – ни жива, ни мертва, из мраморной пены зыбучей... Когда воскресают слова, ветшает значение созвучий.

Опять непроглядная вязь ползет вдоль строптивой бумаги, опять замерцали, смеясь, уста твоей Музы-Отваги! И ты, ради этого рта и радужек этих огромных, жил жизнью слепого крота в заброшенных каменоломнях.

*Послушай меня:
на два шага от глыбы своей отойди...
Отвага, отвага, отвага,
всё в жизни ещё впереди!*

Владимир Николаев

Тайны придворной летописи*

Уникальное издание

До сих пор многие спорят о причинах неудачи нашей перестройки. Как известно, ее главным рупором считается журнал «Огонек», но мало кто знает, что коррупция в его редакции гармонично вплелась тонкой нитью в необъятную коррупцию при ельцинском кремлевском дворе.

В название эпитет «придворная» внесен не для красного словца, другого такого периодического издания со столь специфическим профилем у нас не было.

Я проработал в «Огоньке» почти тридцать лет, был заместителем главного редактора до девяносто второго года, так что рукопись основана на личных воспоминаниях.

Думаю, рассказ о поучительной судьбе журнала прозвучит и сегодня весьма актуально.

В двадцать четвертом году основатель и первый главный редактор «Огонька», известный в то время журналист Михаил Кольцов, в беседе со Сталиным весьма подобострастно заявил: «Товарищ Сталин, «Огонек» – журнал массовый, для широкой аудитории, и мы считаем, что в наши задачи входит рассказывать народу о его вождях, об их деятельности, работе, деталях их жизни и биографии. Мы поместили подборки

* Публикуется впервые. – Ред.

фотоснимков «День Калинина», «День Рыкова», «День Троцкого» и другие».

Кольцов пустился в эти объяснения потому, что Сталин выразил ему свое неудовольствие: «Скоро вы будете печатать, по каким клозетам ходит товарищ Троцкий». Кольцов поспешил его успокоить:

«А не так давно мы напечатали фотографию окна, через которое бежал товарищ Сталин в Батуми, когда полиция нагрянула в подпольную типографию, им организованную».

Кольцов вспоминал, что при этих его словах «Сталин, как-то прищурившись, недоверчиво на меня посмотрел».

Под таким бдительным надзором лично товарища Сталина «Огонек» четко лег на курс придворного журнала и следовал ему даже в постсоветской России. Взгляд на журнал под таким углом зрения дополняет историю страны и кое в чем по-новому раскрывает жизнь и деятельность ее лидеров.

Связь наших вождей и их ближайших сподвижников, членов Политбюро, с «Огоньком» всегда была самая тесная. Они любили появляться на его страницах, ревниво следили за своими фотографиями в нем и за упоминаниями о них в тексте. Сталин на своей даче крепил кнопками к стенкам вырезки из журнала (фотографии и репродукции картин), до конца жизни был постоянным и внимательным его читателем. Очевидцы его смертного часа вспоминали, что он буквально перед последним вздохом пытался своей непослушной рукой показать на огоньковскую фотографию, висевшую над его диваном. На ней молодая доярка поила из соски теленка. Может быть, вождь хотел сравнить с ним свое беспомощное положение?

Хрущев по количеству своих фотографий в «Огоньке», превзошел, пожалуй, даже Сталина. Его главный временщик и помощник Лебедев был страстным фотографом, кстати, на вполне профессиональном уровне, он активно использовал фотолабораторию журнала и печатался на его страницах, создавая, можно сказать, фотолетопись своего шефа. Сам Хрущев всерьез увлекся фотографией уже будучи в отстав-

ке, даже консультировался с нами по поводу этого своего увлечения.

Была еще такая строго официальная традиция: публиковать цветные портреты членов Политбюро во всю журнальную страницу в дни их юбилеев, чему сами юбиляры уделяли весьма большое внимание и относились к этому делу заинтересованно и ответственно.

Вообще страсть партийных и государственных руководителей позировать перед объективом сблизила журнал со многими из них. Они обычно приглашали наших лучших фотомастеров на свои памятные семейные события (не говоря уже об официальных): дни рождения, свадьбы и тому прочее. И как ни приказывали охранники из КГБ моим коллегам-огоньковцам помалкивать об этих съемках, они все равно рассказывали о них и показывали порой удивительные снимки.

Особенно много таких устных воспоминаний и документальных фотографий оставила после себя эпоха Хрущева-Брежнева. Последний тоже, разумеется, уважал журнал, был всегда близок к нему. Я сам видел, как он во время зарубежных поездок требовал себе в первую очередь «Правду» и «Огонек». А уж его собственных фотографий в журнале было видимо-невидимо! В этом он всех переплюнул, ведь правил нами восемнадцать лет!

Много внимания уделял журналу и Горбачев, чей главный идеолог Яковлев называл «Огонек» своим полигоном, его вполне можно было считать шефом-редактором журнала в те годы, он и посадил Коротича в кресло главного редактора.

При Ельцине традиционная связь журнала с высшей властью дошла до своей кульминации: наш сотрудник, заведующий отделом писем Валентин Юмашев, написал за Ельцина три книги его воспоминаний, стал его лучшим другом и главой президентской администрации. На пару с дочерью Ельцина Татьяной он возвысился над совсем уже одряхлевшим главой государства, а затем, в две тысячи первом году, женился на Татьяне. Большая любовь? Или деньги к деньгам? К тому времени вошедшие уже в зрелый возраст молодож-

ны баснословно разбогатели, а огромные состояния имеют свойство притягиваться друг к другу.

В уникальности «Огонька» была еще и вторая определяющая его грань. По неписанной традиции в нем считали возможным одновременно публиковаться все наши ведущие прозаики и поэты, начиная с самого правого фланга и кончая самым левым. Например, авторы таких непримиримых журналов, какими были «Новый мир» и «Молодая гвардия». Другого такого издания, кроме «Огонька», где они встречались бы в одном и том же номере, под одной и той же обложкой, у нас в стране не было. Этот примечательный факт позволил мне иметь дело с самыми разными писателями, авторами журнала, что помогло всесторонне изучить нашу литературную жизнь.

Журнал в советские годы сделал немало для русской культуры, особенно во время перестройки, этот период оказался лучшим в его истории.

Но и в эти годы он продолжал оставаться все тем же придворным изданием, поскольку реформы проводились сверху. Будучи полностью печатным органом Яковлева, журнал считался лидером перестройки и пользовался огромной популярностью не только в стране, но и во всем мире.

Это было светлое время надежды на скорое выздоровление нашего общества. «Огонек» немало сделал для создания и поддержания этой мечты.

В этом его заслуга и вина одновременно.

Из грязи в князи

Первый номер журнала «Огонек» вышел первого апреля двадцать третьего года. Тогда эта дата на страницах журнала никак не обыгрывалась. Мало этого. Ни на обложке, ни в его материалах ни о какой программе нового издания не объявлялось, нет в нем никаких приветствий, пожеланий и напутствий, фанфар и барабанного боя тоже не было. Рождение журнала было тихим и скромным.

На обложке первого номера написано: «Иллюстрированный литературный еженедельник», потом, в следующих номерах, этот ярлычок исчез, стали просто писать на первой странице каждого номера: «Еженедельный иллюстрированный журнал». «Огонек» с самого начала вполне соответствовал сложившейся в мировой журналистике форме иллюстрированного еженедельника, на обложке которого можно было бы поместить такой девиз: «Обо всем понемногу». К своего рода специфике нового еженедельника относилась уже упоминавшаяся его близость к высшим эшелонам власти, к сильным мира сего.

Создание журнала совпало с началом недолгого удачного периода, который вдруг выпал на долю многострадальной страны, что и было отражено на обложке первого номера: довольно аляповатый черно-белый рисунок изображает две раскрытые журнальные страницы. На первой дата – 1919 и символы разрухи, голода и беды, вплоть до шагающего скелета, крохотный язычок пламени пытается разогнать мрак в левом углу рисунка. Рядом, на второй странице, дата – 1923 и характерные признаки созидания: орудия труда, дымящие заводские трубы, пароход, вспаханная земля, колосья пшеницы и все это залито солнцем.

Страна вставала из руин двух войн – мировой и гражданской, набирала силы новая экономическая политика.

В конце номера указано: «Редактор М. Е. Кольцов». Никаких списков членов редколлегии или редакционного совета, состава редакции, как это теперь принято.

За многие годы работы в редакции журнала я просмотрел все его вышедшие номера, не раз встречался и беседовал с теми, кто работал в «Огоньке» до меня, в том числе и с братом Кольцова, художником Борисом Ефимовым, который был моложе его всего на два года, но пережил старшего брата более чем на полвека и шагнул в ХХI век уже в столетнем возрасте!

Когда просматриваешь первые номера журнала, то невольно обращаешь внимание на то, как убого он выглядит. Я имею

в виду сугубо профессиональную сторону дела, его макет и верстку, подачу в нем материалов, оформление. Впечатление такое, что его готовили к изданию абсолютно несведущие в журнальном деле люди, не имевшие самой элементарной подготовки. Мне могут возразить: так это же было восемьдесят пять лет назад, какая уж тогда имелась полиграфическая база, бумага, культура производства?.. Имелась. Да еще какая! Возьмите в руки дореволюционные российские еженедельники. Не только бумага и печать отменные, но и весь внешний вид, макет, верстка, оформление радуют глаз. Никакой доморощенной самодеятельности, зрелый профессионализм, хороший вкус и чувство меры. Не может не удивлять высокое качество фотографий и журнальной графики.

Взяв на себя роль зеркала жизни, «Огонек» одним своим внешним видом прежде всего отразил (невольно, разумеется), как в результате революции буквально рухнуло качество жизни во всех ее проявлениях. Безотказно срабатывало и мстило за себя железное правило революции: из грязи в князи. Всюду люди взялись не за свое дело, упиваясь своей властью и вседозволенностью, под партийным руководством, разумеется.

Одна из ближайших помощниц Кольцова по «Огоньку», Прокофьева, вспоминала: «В двадцатые и тридцатые годы журналы выходили с большим опозданием: были затруднения с бумагой, типографская техника была очень низка, однако не меньшую роль играли скверные редакционные традиции – богемность и расхлябанность редакционного аппарата. Часто бывало, что материал номера прочитывался редакторами в гранках, сверстанные полосы бесконечно переделывались. За это никто не отвечал».

Человек и коллектив

С первых номеров в «Огоньке» зазвучала безысходная тема жилищного кризиса. Людям негде было жить. Журнал призывал решать эту проблему и обещал обеспечить жильем

всех в самом недалеком будущем. А пока занялся прославлением домов-коммун, с общим бытом, общими кухнями, красными уголками. Как известно, такие дома не привились, не приемлет их душа человеческая.

Коллективное жилище, коллективный труд, общий отдых, коллективное творчество... Раздавить коллективом личность! Этот партийный социальный заказ журнал, как мог, старательно проводил в жизнь, полагая, что тем самым он способствует построению светлого коммунистического будущего. В статье «Для чего ударники призываются в литературу» Еф. Зозуля, заместитель Кольцова в «Огоньке», писал: «Кто может показать эти величайшие процессы нового социалистического труда? Конечно, есть все основания думать, что лучше всего их покажет художник, непосредственно занимающийся этим трудом». Сомнительное утверждение!

Не может не поражать своим размахом и остервенением антирелигиозная кампания на страницах журнала. Из номера в номер публикуются сообщения и фотографии об уголовных судах над «церковниками» (так тогда писали), о разрушении храмов и монастырей. Любимые изобразительные детали: взрывают церковь, сбрасывают крест с колокольни, разбивают колокол, срывают со стен иконы, открывают в церкви клуб... Откровенные погромные тексты и призывы! Воинствующие атеисты восстают на страницах журнала даже против новогодней елки. «Огонек» широко пропагандирует деятельность Союза безбожников и его главу Емельяна Ярославского, одного из самых главных пропагандистов-погромщиков.

Весьма любопытно отношение журнала к так называемой дружбе народов нашей страны: все советские народы не просто друзья, но и братья. Это было раз и навсегда определено как аксиома, то есть истина, не требующая доказательств. А посему в суть национальных проблем журнал не вдавался, громко и бодро прославлял «дружбу советских народов».

Но было при этом одно исключение: так называемый еврейский вопрос и связанный с ним антисемитизм. К этой

теме «Огонек» часто обращался, поэтому бытовало и такое мнение, что журнал изначально стал средоточием еврейских журналистов и писателей. Но на самом деле не все было так просто, не забывайте, и убежденными они были коммунистами. Их можно было скорее упрекнуть не в сионизме, а в антисемитизме. Так, журнал тех лет с удовольствием сообщает о разгромах синагог, об устройстве в них клубов.

В «Огоньке» публикуется фоторазворот под общей «шапкой»: «Антисемитов больше не будет» Вот несколько строк из текста: «В майские дни делегация юных пионеров поехала в еврейские земледельческие колонии, в Белоруссию, Украину, Северный Крым и Криворожье... Там переделываются и жизнь, и люди, и склад их ума, и вся их жизненная установка...»

Что это — глупость или антисемитизм?! А вот подписи к фотографиям, иллюстрирующим этот материал: «Новые люди в старой синагоге. Криворожские пионеры принимают гостей в новом клубе», «Приезжая пионерка Корнеева убеждает старого еврея сбросить молитвенную одежду». Отношение несколько не лучше, чем к русским святыням, а отношение к еврейскому народу весьма двусмысленное.

Из житейских тем журнал никак не мог обойти новую экономическую политику, с введением которой он и начал свое существование, она тогда интересовала и затрагивала всех и каждого. Но журнал писал не столько о новой политике, сколько о ее периферии, черном рынке, спекуляции, взятках, развеселой жизни нэпманов... Вместо вдумчивого и серьезного разговора на эту тему журнал пишет о злодеях-частниках, о процессах над ними. Так, к процессу по делу о взятках в кооперативе «Московская гостиница» было привлечено восемьдесят девять человек, из них одиннадцать приговорили к расстрелу.

Во много раз больше, чем о НЭПе, «Огонек» в те годы писал о пьянстве и самогоноварении, причем, эти материалы по их накалу можно сравнить разве что с горбачевским крестовым походом против спиртного. Впрочем, и результаты обоих исторических безобразий тоже вполне сопоставимы.

Из других житейских, человеческих тем занимала журнал и проблема беспризорных. Миллионы сирот, жертв двух войн, мировой и гражданской, бродили по стране в поисках хлеба и тепла.

Светская хроника по-советски

С первых же номеров журнала заявил о себе на его страницах любопытный жанр, который был похож на светскую хронику, но на самом деле являлся придворной кремлевской хроникой. По ней можно безошибочно следить за жизнью высших представителей партийно-советской элиты тех лет. Вот имена главных героев такой огоньковской летописи в двадцатые годы: А. Рыков, Л. Троцкий, Г. Чичерин, М. Литвинов, Г. Зиновьев, А. Луначарский, Л. Красин, К. Радек, М. Калинин, Н. Бухарин, Ф. Дзержинский, Л. Карахан, М. Фрунзе, Л. Каменев, М. Томский, Х. Раковский, А. Бубнов, С. Буденный, Н. Муралов, С. Каменев, Ф. Раскольников...

Список, конечно, далеко неполный, но я постарался назвать самых главных лиц этой журнальной хроники, причем, расположил их в том порядке, по какому можно судить об их популярности, листая старый «Огонек». О Сталине речь пойдет дальше.

Приведенный выше перечень имен относится только к начальному периоду деятельности журнала. После смерти Ленина они с течением времени появляются в «Огоньке» все реже и реже. Это обстоятельство указывало на подковерную борьбу за власть в верхних ее эшелонах и на то, кто постепенно, но уверенно брал верх. Вот несколько примеров, говорящих о том, как начиналась в журнале его придворная хроника.

Материал о болезни Троцкого. Не сообщение о серьезном заболевании, не медицинский бюллетень о состоянии здоровья, а заметка о том, как он поправляется на юге (даже не в больнице). Тут же фотография: Ленин и Троцкий. Два вождя революции. Сам Ленин был смертельно болен и в

следующем номере журнала его уже хоронят. Обращает на себя внимание, что смерти вождя и его похоронам отвели не весь номер. Так, сразу за его траурными страницами следует статья под названием «Изучение сифилиса на животных». Что это?! Снова пример неопытности сотрудников журнала?.. Или же злорадные происки тех, кто разделял слухи о том, что именно эта болезнь свела Ильича в могилу?

Через два месяца после выхода в свет этого номера «Огонька» на его страницах появляется материал все о том же Троцком, о том, как он продолжает набираться сил в Сухуми. Публикуются также несколько фотографий: он в кругу родных и близких, он среди своей весьма многочисленной obsługi.

Журнал постоянно и подробно освещал деятельность главы правительства Рыкова, но при всем обилии текстов и фотографий о нем четко прослеживается характерная черта: это летопись жизни государственного деятеля, причем, человека серьезного и скромного.

Другое дело Зиновьев, глава ленинградских коммунистов, а главное – «бессменный председатель Исполкома Коммунистического Интернационала» (так величал его журнал). После смерти Ленина он, глава Коминтерна, как бы уже примерялся к роли вождя мирового пролетариата.

Весной двадцать четвертого года «Огонек» опубликовал фотографию, которая, как говорится, дорогого стоит, ее смысл виден из подписи к ней: «При закладке памятника Владимиру Ильичу Ленину Г. Е. Зиновьев произносит с броневика речь рабочим на площади у Финляндского вокзала в Ленинграде на том самом месте, где ровно семь лет назад впервые выступил перед ленинградским пролетариатом В. И. Ленин». Требуются ли здесь комментарии?!

А вот, например, Л. Карахан в «Огоньке, один из представителей ленинской гвардии. После революции стал видным советским дипломатом. Вот его снимок на обложке журнала: он, наш посол в Китае, садится в поезд, направляясь к месту своей заграничной службы. Через три месяца мы снова видим

его на обложке журнала: он стоит на территории советского посольства в Китае. И еще через две недели все тот же Каракан и снова на обложке: подписывает в Пекине договор.

И он – не исключение. Вот во всю журнальную обложку фотография Л. Красина (к его назначению послом во Францию), а через две недели на всю первую журнальную страницу фотография: он садится в поезд Москва – Париж. Наш посол в Афганистане Ф. Раскольников снят в журнале вместе со своей женой, известной писательницей Ларисой Рейснер, на слоне...

В подаче таких материалов видна была не только придворная услужливость светской хроники, но и бытовавшая тогда еще в нашей журналистике некоторая раскованность, которая, кстати, уже со второй половины двадцатых годов резко пошла на убыль, а с появлением на страницах «Огонька» Сталина совсем сошла на нет.

Любопытно, что в журнале наряду с хроникой правящей элиты был замечен большой интерес к придворной хронике царского окружения. Журнал не раз обращался к жизни последнего русского царя и его двора, обильно публиковал фотографии дворцов, сокровищ, кабинетов и даже спальных комнат. Все эти иллюстрации носили сугубо разоблачительный характер, но все же между строк можно было прочесть: вот жили люди!

Отравленный исток

У каждой реки есть свой исток. Глядя на такой ручеек, никогда не подумаешь, что он является началом реки, которая может стать полноводной и растянуться порой на тысячи километров...

Сталин впервые появился в «Огоньке» осенью двадцать третьего года, на обложке его фотография с лаконичной подписью: «И. В. Сталин. Секретарь ЦК РКП». Как видим, пока без эпитета «генеральный». Ленин еще жив, но совсем плох, дни его сочтены. Этой фотографией на обложке журнал

страхуется на всякий случай к приходу нового хозяина — Сталина.

В следующий раз он появляется на обложке журнала только через год, но зато весьма весомо, о чем свидетельствует текст под его фотографией: «И. В. Сталин, Генеральный секретарь ЦК РКП. Новый портрет работы М. Наппельбаума».

Да, это уже не обычная репортерская фотография, а фотопортрет: какой многозначительный красавец! За год с лишним существования журнала это первый такого рода портрет. Смотришь на него и вспоминаешь фотографии царя в старых российских журналах. С такой ретушью и полиграфической выделкой журнал никого еще не преподносил. Эта работа Наппельбаума положила начало целому направлению в советском искусстве — возвеличиванию и обожествлению вождя. И совсем не случайно ее доверили исполнить самому знаменитому в то время фотомастеру.

В следующий раз Сталин заявил о себе сам в январском номере журнала за двадцать пятый год, в первую годовщину со дня смерти Ленина, выступив со статьей «Первая встреча с Лениным». Никому не уступил, хотя еще были живы такие ближайшие соратники Ильича, которые могли бы вспомнить о нем побольше, чем Сталин. Рядом с его статьей было помещено изображение автора с пояснением: «Новейший фотопортрет работы С. Л. Бранзбурга». Он сделан в том же стиле, что и у Наппельбаума, Сталин похож на ухоженного и зализанного красавчика с витрины парикмахерской. Как теперь говорят, процесс пошел, роль мотора в нем взял на себя «Огонек».

Изображениями вождя дело не ограничилось: журнал рассказывает об истории шахтерского города, а название у него — Сталин. Еще через несколько номеров сообщается о пуске домны на заводе имени Сталина. А вскоре в журнале публикуется уже не фотопортрет, а рисованный портрет вождя, автор его художник Н. Филиппов. Своим более чем комплиментарным портретом он открывает путь целому сонму других графиков и живописцев, прихлебателей от искусства, наперегонки изображавших «великого вождя и учителя».

И пошло-поехало!.. Прежние герои придворной огоньковской фотолетописи потеснились, затем и вовсе исчезли со страниц журнала, уступив место Сталину и его личному окружению.

Культ вождя с самого начала строился как с помощью изобразительных средств, так и с помощью текста. Вот заметка и фотография, под которой подпись: «Делегация селькоров, представителей первого Всесоюзного съезда селькоров газет «Беднота» и «Крестьянской газеты», у генерального секретаря ЦК РКП(б) тов. Сталина. В центре, за столом, И. В. Сталин». В заметке, в частности, говорится:

«...Были в Кремле у Сталина. Просто и дружески говорил с молодежью старый боец, только изредка морщился: «Ведь я не красная девица, замуж не хочу – нечего меня хвалить». Говорили о жизни своей... Внимательно слушает Сталин, внимательно объясняет жадно ловящим селькорам то, как осторожно надо понимать слово кулак. Узнавать его, кулака, не по новой крыше, а новым запашкам... О том, каков будет сельскохозяйственный налог в этом году, как нужно чистить низовой советский аппарат от всего чуждого, всего примазавшегося...»

Чем громче звучали журнальные колокола во славу Сталина, тем все тревожнее отдавался набатом их звон по всей стране. Одновременно со сталинским культом «Огонек», разумеется, по заказу вождя, создавал образ врага народа, вредителя, шпиона, диверсанта.

Как известно, термин «враг народа» появился не на голом месте, ему предшествовало рожденное революцией понятие «лишенец». Об этих «классово чуждых советскому строю элементах» журнал писал немало. Их не только травили в прессе, но лишали избирательных прав, права на учебу, приличную работу. Культ Сталина и его диктатуре образ врага был жизненно необходим, без него тиранию не оправдаешь! Вот целых три журнальных страницы под заголовком «Фильтр для классовых врагов».

Далее в статье перечисляются «враги», то есть лишенцы: кооператоры, кустари, кулаки, бывшие дворяне и чиновники,

и многие другие категории граждан, а так же их родственники! Некая Арестова, жена дьякона из Кинешмы, пишет в «Огоньке»: «Если потребуется, то ради избирательных прав не пожалею разойтись с мужем». И разошлась! О чем с удовольствием журнал сообщил.

Враг № 2

Одновременно с образом врага внутреннего, читателю преподносился и враг внешний, который в самых разных формах отображал империалистическое окружение нашей страны. А посему нужно было крепить бдительность, воспитывать в советских людях классовую ненависть и крепить оборону, не жалея средств на армию.

Вошли в моду военные парады, демонстрации, массовые патриотические манифестации. Во время традиционных демонстраций через Красную площадь проходило за один раз до одного миллиона москвичей – а то и больше! Все такие события, разумеется, исправно и широко освещались журналом, придворная хроника обретала монументальные формы.

В двадцатые годы едва ли не половина каждого номера заполнялась материалами на международные темы – статьи, очерки, заметки, репортажи с мест, хроника и масса фотографий. Трудно было расставаться с главным мифом Октябрьской революции – непреклонной верой в то, что она просто не сможет не перерасти в мировую революцию. А уж коль скоро этот грандиозный план сорвался, надо было вымещать свою досаду на проклятых капиталистах. Со страниц журнала не сходила тема «классовых битв» за рубежом, всячески расписывались ужасы империализма и эксплуатация трудящихся. Вот характерные строки из очерка Лидии Бах «Когда парижские рабочие восстанут»:

«Буржуазия чувствует приближение своего конца. Она принимает меры для военной защиты от своего пролетариата. Подготовка к гражданской войне в настоящее время проводится буржуазией с небывалой энергией. Ленинский лозунг

замены войны империалистической войной гражданской учтен буржуазией, и она готовится к восстанию рабочего класса одновременно с подготовкой новой мировой войны».

В этой довольно косноязычной цитате определена сквозная тема в международной политике журнала. Это притом, что публицистика – главное оружие еженедельника. В том же «стиле» писалось в журнале и на внутренние темы: «Мы должны добиться того, чтобы иметь возможность шаг за шагом идти к тому, чтобы заменить платных чиновников всеми гражданами нашего Союза, которые будут исполнять в государственном аппарате свои общественные обязанности после производственного труда».

В чем же дело? Может быть, тогда русская публицистика вообще была в состоянии недоразвитом? Нет, конечно! Просто весь цвет ее революция выколола, одних мастеров слова физически уничтожили, других Ленин лично выслал за границу как раз незадолго до создания «Огонька». Так и оказались за рубежом ведущие русские мыслители и публицисты, их великие имена, их пророческие труды лишь в восьмидесятые годы прошлого века вернулись к нам. Среди высланных из России более чем ста пятидесяти «внутренних эмигрантов» были: Н. Бердяев, П. Сорокин, С. Франк, И. Ильин, Н. Лосский, Ф. Степун, С. Булгаков, М. Осоргин, Ю. Айхенвальд, Г. Федоров и многие, многие другие...

То же самое случилось и с литературой. После революции за кордоном оказались: А. Аверченко, М. Алданов, А. Амфитеатров, М. Арцыбашев, К. Бальмонт, П. Боборыкин, З. Гиппиус, Дон-Аминадо, Б. Зайцев, А. Куприн, Г. Иванов, Д. Мережковский, В. Набоков, А. Ремизов, Б. Савинков, Игорь Северянин, Н. Тэффи, В. Ходасевич, Саша Черный, Е. Чириков, М. Цветаева, Л. Шестов, И. Шмелев...

Это только самые известные имена. Можно вспомнить, что за один лишь двадцать четвертый год зарубежом вышло русских книг, журналов и сборников – шестьсот шестьдесят пять. «Русская современная литература, – утверждала Зинаида Гиппиус, – из России выплеснулась в Европу. Чашу русской ли-

тературы из России выбросили. Она опрокинулась, и все, что было в ней, – брызгами разлилось по Европе». А Мережковский четко определил: «Мы не в изгнании – мы в послании!»

Сегодня это послание дошло до нас, россиян.

С петлей на шее

«Огоньку» удалось просуществовать в качестве более или менее нормального еженедельника года три-четыре, не больше. Постепенно из него выхолостили темы, относящиеся к повседневной жизни, от бытовых до театральных, журнал превратился в занудный агитационный листок, главная цель которого была обозначена в нем весьма четко – возвеличить Сталина и его политику.

Читать номера за последние двадцатые годы и за все тридцатые – занятие скучное, представляющее интерес только для историка журналистики. Бывшие герои его страниц еще не названы «врагами народа», но уже изгнаны с них и объявлены оппозиционерами. Их вытеснение из жизни страны началось именно с исчезновения их имен со страниц «Огонька». А вот главный его редактор, Михаил Кольцов, их друг и единомышленник, по-прежнему оставался на своем месте, хотя так же, как и они, жил уже с петлей на шее, она затягивалась не сразу, медленно, но верно. И самое ужасное было в том, что Кольцов сам помогал ее затягивать!

Вот вполне рядовой номер журнала, никаких праздников, круглых дат и юбилеев, а на его обложке красуется фото Сталина, следом за ней, во всю первую страницу – другое его фото! В журнале печатаются его речи, он обильно цитируется к месту и не к месту. Брат главного редактора, художник Борис Ефимов, изображает вождя на очередной журнальной обложке в виде стоящего за штурвалом рулевого, подпись гласит: «Капитан страны Советов ведет нас от победы к победе!»

В другом номере «Огонек» открывает новую всесоюзную кампанию: всем теперь надо жить и работать, строго следуя шести указаниям товарища Сталина (они подробно излагаются).

Или еще пример какого-то уже запредельного угодничества: в журнале объявляется, что следующий его номер будет целиком посвящен «откликам на историческую речь товарища Сталина, произнесенную четвертого мая в кремлевском дворце на выпуске академиков Красной армии». Во что превратили еженедельник!

Во все это трудно поверить, но журнальные страницы тех страшных лет хранят для нас и будущих поколений весь этот позор и ужас. Вот журнал печатает очередную «гениальную речь любимого вождя и учителя», сказанную в Большом театре на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы. Таких выступлений у вождя не счесть, но вот как оно обрамлено комментариями в журнале, перед текстом речи такая ремарка:

«Появление на трибуне товарища Сталина встречается избирателями бурей оваций, которая длится в течение нескольких минут. Весь зал Большого театра, стоя, приветствует товарища Сталина. Из зала непрерывно раздаются возгласы: «Да здравствует великий Сталин, ура!».

После текста речи снова следует ремарка:

«Бурные, долго несмолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают и обращают свои взоры в правительственную ложу, куда проходит товарищ Сталин. Раздаются возгласы: «Великому Сталину, ура!», «Товарищу Сталину, ура!».

Это было короткое, всего на несколько минут выступление, но оно тридцать раз прерывалось аплодисментами, шумными, бурными, продолжительными, а также овациями, бурными и долго несмолкающими. В общем, по времени, аплодировали и кричали от восторга дольше, чем слушали вождя.

Смешно? Страшно!

Паралич слова

Создание какого-то немыслимого по своим масштабам культа Сталина поразило и парализовало журнальные жанры. Одним из первых открывателей стихотворного лакейства

стал известный в то время поэт Александр Жаров, он просто и без затей поведал читателям:

*Коль прогремит боёв раскат,
К победе путь не будет дален...
Есть у меня отец и брат
И есть товарищ
Сталин.*

В поэтическое соревнование с коллегой поспешил вступить тоже известный стихотворец Джек Алтаузен:

*Он, как ветер с дальних широт,
Он, как высшее в мире искусство,
Он, как мысль, перешедшая в чувство,
Движет нас неустанно вперёд.*

Трудно поверить тем, кто не жил в то время, что такое словоблудие печаталось миллионными тиражами во всех газетах и журналах, начиная с «Правды» и «Огонька». Но самое чудовищное заключалось в том, что все это писалось и публиковалось под расстрельные выстрелы массового террора.

Не отставали от поэтов и огоньковские прозаики, превозносили до небес вождя, воспевали бдительность советских патриотов и геройских сотрудников карательных органов, проклинали врагов народа, шпионов, диверсантов и мировой империализм. Вот каким диалогом между мужем и женой, работающим вместе на одной электростанции, заканчивается опубликованная в «Огоньке» новелла (да, именно так определен редакцией высокий жанр этого произведения!) В.Лосева «Преступление»:

«— Гарин, — сказала она, — ваша диверсия не удалась.

— Что?

— Ваша диверсия не удалась, Гарин, — повторила она. — Вот почему вы захотели дать напряжение (*в электросети* — В. Н.) с Петровска. Вы знали? — Она помолчала и добавила:

— Подлец!

Гарин засуетился.

– Молчи! – крикнула она, сняла трубку и вызвала комендатуру.

– Что ты делаешь, Варя, Варенька!

– Комендатура? Я дежурный диспетчер...

– Варя, Варя, неужели ты?..

– Инженер Гарин пытался во время дежурства совершить диверсию. Да. Он здесь».

Такой умопомрачительно низкий литературный уровень произведений, непосредственно воспевающих вождя и развязанный им массовый террор, губительно сказывался и на общем уровне журнальной прозы и поэзии. Вот только несколько поэтических примеров (их гораздо короче можно цитировать, нежели прозу), причем, они принадлежат поэтам, которых судьба талантом не обделила.

Из стихотворения Ярослава Смелякова «Смех»:

*...И так это бодро
Схватить руками
И через границы
Помеху
Бросить в буржуеву морду
Камень
Реконструированного смеха.
И будет война,
И я буду верить
В победу
Рабочего класса.
Я буду смеяться
В лицо ей, смерти.
От веселящего газа.*

Из стихотворения Николая Асеева по поводу открытия метро:

*И нынче, Москва,
весь Союз поздравит тебя*

*не только
с тоннелями
первых очередей,
но и с архитектурой
чеканных в схватках ребят,
но и с облицовкой
в борьбе закаленных людей.*

Надо думать, что не все произведения такого рода писались их авторами от души, с большой охотой. Жизнь заставляла: пиши, как требуется, будешь жить припеваючи. Не будешь – посадят или просто заткнут рот, не будут нигде печатать. Вот Платонов не писал и работал дворником. Булгаков не писал и бедствовал...Наконец, власть добила своего, написал он пьесу о молодом Сталине и... надорвался над этим непосильным для него трудом.

Вскоре после этого и умер.

Что написано пером...

Вот несколько строк из воспоминаний о Кольцове, которые опубликовал в журнале в шестидесятые годы старый огоньковец, журналист и писатель Кружков:

«Ни на один день не прерывая работы в «Правде» (Кольцов был членом редколлегии газеты – В. Н.), он редактировал журнал «Огонек», проводил всякие совещания, заседания, спорил, что-то организовывал, что-то создавал, чем-то был увлечен и вместе с тем ездил то по Союзу, то по заграницам... Он был занят одновременно множеством дел...»

Кольцов и сам не скрывал того, как и в какой обстановке он работал:

«Я не пишу. Пишут моя жена, Лизавета Николаевна, или машинист «Правды» Зембровский, снисходительно слушая, что мне взбредет диктовать. Но это не меняет дела.

Я всецело подхожу под известного злосчастливого журналиста из анекдота. Его спросили:

– Вы читали такую-то книгу?

И он ответил:

– Голубчик! Мне и писать некогда!

Очень часто я напоминаю себе трамвай, набитый пассажирами, как селедками, обвисший людьми на подножках и буферах, дико трезвонящий на прохожих, пропускающий остановки. Иногда же – девушку с подносом в ночной пивной, где сразу в двадцать голосов окликают посетители... А все-таки работать именно так, густо, сложно, хлопотливо, не по-писательски – доставляет огромное удовольствие...»

Что ж! Кому что нравится. Кольцов, действительно, постоянно занимался одновременно несколькими делами, вплоть до того, что каким-то образом прицепил к себе в петлицы высшее воинское отличие – ромбы, то есть по нынешним понятиям стал генералом! Людей такого типа моя бабушка называла «захапистыми» (согласно словарю Даля, определение это к нему вполне подходит).

Жизнь его была непростой и проходила по-разному, в той атмосфере, в какой он крутился, как белка в колесе, с ним всякое случалось.

За тридцать своих лет в «Огоньке» я многое узнал о его первом редакторе и написал о нем большой очерк под названием «Что написано пером...» Оно родилось в связи с весьма характерным для него случаем, о котором поведал читателям в своих воспоминаниях его родной брат Борис Ефимов. Он пишет о том, как был вместе с братом за рубежом:

«Это было в Париже в тридцать третьем году... Его корреспонденции и очерки из Парижа систематически появлялись в «Правде». Мне хочется, в частности, вспомнить здесь один из любопытнейших его фельетонов, родившийся буквально на моих глазах, – неотразимый снайперский удар по белогвардейской газете «Возрождение». Сей малопочтенный орган печати выделялся своим оголтелым черносотенством, печатая из номера в номер дикие бредни о голоде, людоедстве, разрухе, терроре и непрерывных восстаниях в Советском Союзе».

Как сообщает далее мемуарист, главным редактором газеты «Возрождение» был некий господин Семенов. Однажды Кольцов сказал брату о Семенове:

«Скоро у него будет довольно кислый вид, – сказал брат, хихикнув, – я тут приготовил ему один... финик.

И он показал мне написанное от руки письмо за подписью «Твоя Лиза». Письмо это было тут же вложено в конверт с адресом редакции «Возрождения». Примерно на второй или третий день письмо появилось в газете, редактируемой господином Семеновым. Белогвардейский карась не замедлил проглотить наживку и скоро болтался к всеобщему посмешищу на удочке большевистского журналиста».

В этом «Письме от Лизы», написанном якобы из украинского города Екатеринослава, в частности, говорилось:

«Возьми меня отсюда, родной. Не могу больше держаться. А Сережа умирает, без шуток, поверь. Держался до августа кое-как, но больше держаться не может. Если бы ты был, Леша, здесь, ты понял, ощутил бы весь ужас. Большевики кричат об урожае, а на деле – ничего, на деле – гораздо голоднее даже стало, чем раньше... Алексей не верь газетам, пойми, что наш чудесный Екатеринослав вымирает постепенно, и чем дальше, тем хуже. Алеша, мне известно, что ты женился. Пусть так, Алеша. Но все-таки, если ты человек, если ты помнишь старую любовь, выручи, умоляю, меня и Сережу от голодной смерти. Я готова полы подметать, калоши мыть, белье стирать у тебя и жены... Все екатеринославские без конца завидуют тебе. Масса безработных, особенно учителей, потому что областной центр сильно сократил. Большинство здешних металлургических заводов стоят, закрыты на зиму. Сережа – большой, но помнит своего папу. Он растет русским. Целую, твоя Лиза».

Вскоре после публикации этого письма в газете «Возрождение» появился фельетон Кольцова в «Правде», в котором он рассказал о своей мистификации.

«Нетрудно себе представить, какой получился оглушительный эффект», – восторгается в своих мемуарах Бо-

рис Ефимов. Но уж лучше бы он не вспоминал об этом случае!

Много времени спустя оказалось, что он тем самым не прославил, а ослабил своего брата, разоблачил его как самого беспринципного прислужника сталинского режима.

В чем же было дело? В том самом адресе, который поставил под письмом Кольцов. Он не случайно выбрал город Екатеринослав. Накануне своей поездки в Париж Кольцов находился в командировке на Украине и побывал также в этом городе, то есть сумел познакомиться с тамошней жизнью. И он, конечно же, не мог не заметить того повального голода – до случаев людоедства доходило дело! – на Украине, который был там организован Сталиным в связи с насильственной коллективизацией, в ходе которой от голода погибло несколько миллионов человек.

Такая вот история. Последняя, можно сказать, убийственная точка в ней была поставлена в восемьдесят девятом году, когда в изданных в очередной раз воспоминаниях Бориса Ефимова снова был описан этот эпизод, но город Екатеринослав при этом уже не упоминался! Значит, кто-то обратил внимание на то, что «неотразимый снайперский удар» Кольцова оказался прежде всего демонстрацией его беспредельного цинизма и подлости. Что написано пером, не вырубишь топором...

Судьба Кольцова была трагична. Думаю, что Сталин просто-напросто всегда имел свой счет к самому известному в то время публицисту. И как ни старался Кольцов со своим «Огоньком» ублажить вождя, все его усилия были напрасны.

Сталин знал, что Кольцов с молодых лет принадлежал к чуждой и враждебной кампании и, что самое главное, был горячим поклонником Троцкого, которого воспевал в своей публицистике. Как мог болезненно подозрительный и мстительный вождь забыть о том, что Кольцов много писал о двух вождях революции, Ленине и Троцком, о создателе Красной Армии Троцком!.. И в том, и другом случае Сталин в тридцатые годы уже уверенно вытеснил Троцкого из этих определений.

В конце концов, среди тех многочисленных жертв сталинского террора, которых вождь, можно сказать, лично отправлял за решетку, оказался и Михаил Кольцов. Он подписал на выход в свет последний номер «Огонька» двадцать пятого ноября тридцать восьмого года и бесследно исчез в недрах ГУЛАГа...

Высказывались предположения, что он погиб из-за провала сталинских происков в Испании, где тогда шла гражданская война. Вождь лично послал туда Кольцова. В то время там насчитывались тысячи наших военных, агентов НКВД и других специалистов.

Многие из них были арестованы после возвращения из Испании, Сталин вымещал на них свою злобу за поражение республиканцев. Снова сорвалась еще одна попытка зажечь огонь пролетарской революции зарубежом!..

Незадолго до своего ареста Кольцов докладывал вождю об испанских делах в свой очередной приезд в Москву. Сохранились воспоминания об этой его последней встрече со Сталиным. На ней также присутствовали Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов. Кольцов по свежим следам рассказал об этом событии своему брату, его не мог не поразить конец встречи с вождем:

«...Сталин стал как-то ч у д и т ь. Остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.

– Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

– Мигель, товарищ Сталин.

– Ну, так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.

– Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул и произошел какой-то странный разговор:

– У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

– Есть, товарищ Сталин, – удивленно ответил я.

– Но вы не собираетесь из него застрелиться?

– Конечно, нет, – еще более удивляясь, ответил я, – и в мыслях не имею.

– Ну, вот и отлично, – сказал Сталин. – Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель...

Я совершенно отчетливо прочитал в глазах х о з я и н а, когда он провожал меня взглядом: с л и ш к о м п р ы т о к».

Не напоминает ли эта сцена игру в кошки-мышки?

Вполне возможно, что последней каплей, решившей судьбу Кольцова, оказалась история, которая не могла не привести Сталина в бешенство. Дело было в следующем.

В тридцать шестом году по Советскому Союзу в течение нескольких месяцев разъезжала группа прогрессивных французских писателей во главе с Андре Жидом, который в то время был широко известен и впоследствии получил Нобелевскую премию. От него у нас, естественно, ожидали славословий в адрес сталинского режима и принимали группу по-царски.

Злую шутку с советскими хозяевами сыграло, видимо, слишком долгое пребывание французов в нашей стране, в результате чего они просто пришли в ужас от увиденного. Андре Жид после поездки издал книгу «Возвращение из СССР», разоблачавшую сталинскую тиранию. Она получила широкий отклик во всем мире.

Как только книга вышла, Кольцов тут же был отозван из Испании и вскоре арестован. Именно он был инициатором приглашения французских писателей и лично отвечал за них. Один из них, по имени Эрбар, в своих воспоминаниях коснулся этой темы. После поездки по СССР он оказался в Испании и получил там верстку будущей книги от Андре Жида, дал ее Кольцову, тот прочитал несколько страниц и, как пишет Эрбар, лицо его исказилось от ужаса. Он, конечно, понял, что обречен. И не ошибся...

О злодейском своеобразии нашего вождя-садиста говорит и судьба брата Михаила Кольцова. Сталин лично распорядился вернуть художника к работе и порой даже заказывал ему темы карикатур, случалось и такое, что вождь сам втолковывал Борису Ефимову, как их надо доделывать и переделывать.

После ареста Кольцова в руководстве журнала началась характерная для того времени чехарда. С первого номера «Огонька» за сорок первый год она закончилась, и его главным редактором стал Евгений Петров, широко известный у нас писатель, он погиб на фронте в сорок втором году.

Король умер... Да здравствует король!

После смерти Сталина на самый верх уверенно забрался Хрущев, сумев одолеть таких монстров, как Берия, Молотов, Каганович и Маленков. И тут же он при активной помощи своего окружения (и журнала «Огонек», разумеется) начал торопливо сооружать свой собственный культ.

При этом он, как известно, приступил на XX съезде партии к разоблачению культа Сталина. Правда, его знаменитый доклад на эту тему у нас опубликовали через тридцать с лишним лет в малотиражном издании, в то же время зарубежом он был обнародован в прессе уже вскоре после съезда.

Впрочем, такого рода парадоксы наших вождей никогда не смущали. В данном случае поведение Хрущева вполне объяснимо: он принимал самое активное участие в массовом терроре в Москве и на Украине. Если бы он осмелился покаяться с трибуны съезда! Вполне возможно, что тогда очищение от скверны сталинизма пошло бы у нас не так мучительно, как это случилось на самом деле. Но у нас каяться не принято...

Хрущев сгоряча объявил, что мы скоро догоним и перегоним Америку и что в коммунизм уже войдет жившее тогда поколение советских людей. По этому поводу восторгам не было конца! В «Огоньке» поэт Лев Ошанин воспевал «бессонный ум ЦК», а другой постоянный автор журнала, поэт и прозаик Николай Грибачев, объявляя партию «вождем и слугой народа», восхищался «энергией целеустремленной, предельно напряженной и превосходно организованной деятельности коммунистической партии Советского Союза». Оба этих певца хрущевской эпохи и множество их коллег из

пишущей братии умело и настойчиво проецировали «мудрость партии» на мудрость Хрущева.

Первой ласточкой появился документальный фильм о новом вожде. За брошюрой о жизни Хрущева последовала толстая книга «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США», которую сочинили сразу двенадцать авторов во главе с Аджубеем, зятем Хрущева. Тут же всем двенадцати была присуждена Ленинская премия.

Лесть у нас оплачивается щедро, правда, не из своего кармана, а государственного. Ну, а по количеству своих изображений в прессе и документальных лентах новый вождь превзошел всех своих предшественников на этом посту.

В «Огоньке» дирижировал всей этой кампанией, естественно, главный редактор журнала Анатолий Софронов, занявший этот пост в конце пятидесят третьего года. Он «велосипеда» при этом не изобретал: раз при Кольцове у штурвала страны изобразили Сталина, то теперь точно так же был нарисован в «Огоньке» Хрущев. Под картинкой красовался текст Сергея Михалкова:

*Не страшен никакой девятый вал
И никакие бури не страшны:
В уверенных руках находится штурвал
Могучей, мирной, трудовой страны!*

Продолжение в № 230

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Владимир Эйсер

Налево от Полярной звезды

*«Оставит человек отца своего
и мать свою, и прилепится
к жене своей, и будут одна плоть».*

Бытие. 2, 24.

*Стойкой чалдонке Тане
посвящается.*

- Мешок рыбы на букет цветов?
- Конечно, да!
- Видали лоха?

Весь экипаж высыпал посмотреть на редкий случай, но «лох» уже уходил сквозь аэродромный гул, и даже по спине было видно, что вполне доволен судьбой.

Гвоздики из Москвы. В хрустящем целлофане. Пахучие. Свежие. Нежные. Эх, довести бы!

У себя, в рабочем общежитии, Саша прошел в чулан и выбрал там из хлама поломанный стул. Вахтерша, тетя Даша, с тревогой наблюдала как молодой мужчина оторвал от старого стула полукруглую дужку и запихнул ее себе под парку, так что грудь оттопырилась, как у ядреной бабы.

– Вот! Позалыют шары с утра и творят незнамо чё! Ты чё делаешь, чё делаешь-то, охальник? Ментовка, гля, рядом. А ну – брякну чё?

Саша, смеясь, чмокнул тетю Дашу в вялую щеку и выскочил во двор. Зарокотал снегоход «Буран».

На дворе темно, на душе светло, на спидометре – сорок. Вот уже позади «Страна Маленьких Палок» – полоса редколесья лесотундры, последние деревца сибирской тайги, и снегоход выбегает в Великую Белую Пустыню. Дальше, до самого Полюса, лишь снег и ветер.

Если держать направление на яркую звездочку примерно на три локтя налево от Полярной звезды, то через триста километров попадешь на речку Ханка-Тарида. Там, на крутой излучине, охотничье зимовье. Там, на пороге, стоит Таня и смотрит на юг. И все мысли и чувства, – там...

Дужка от стула выгнула парку на груди. В тепле и уюте, не придавленный, не помятый, приник к груди букет из Москвы. Четыре красные и три белые гвоздики. «...Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей!»

Три месяца длится на этой широте полярная ночь, сегодня двадцать второе декабря, самая середина, двадцать пятого Рождество, а двадцать шестого Танин день рождения.

...Поженились двадцатого сентября.

Кто сказал, что медовый месяц только один, того остается только пожалеть!

Через сутки Саша подъехал к зимовью старика Прокопия, где собирался отдохнуть. Никого... Ни даже следа собачьего!.. Постоял Саша у покинутой избы, постучал ногой о пустые бочки из-под бензина – мда-а...

Топить сейчас выставший балок, идти на озеро колоть лед, греть воду, готовить ужин, а утром разогревать остывший «Буран»?

Нет! Вон облачность натекает, звезд не видно, как бы не пурга.

...Цвела черемуха, когда он начал ухаживать за своей Таней. Уже под утро, проводив девушку домой, Саша возвращался на речку и, наломав полную охапку тяжелых, полных весеннего томленья цветов, возвращался к ее дому и

оставлял букет в старом кувшине у веранды. Проснется, – улыбнется...

Потом черемуха стала осыпаться. И он любил встряхивать ветки над головой невесты, наблюдая, как белый цвет мешается с темной медью ее волос.

Милое лицо молодой жены вдруг ясно выступило из темного неба, и зеленый дым сияния дугой лег на рыжие волосы.

Ждешь, Танечка? Я сейчас. Я быстро. Я уже!

Через несколько часов, по начавшему сереть горизонту, Саша вдруг понял, что едет на рассвет, что, не видя «таниной звездочки», произвольно направляет руль снегохода в ту точку горизонта, где через полтора месяца встанет солнце. Вместо северо-запада едет на юг...

Бензина хватило вернуться на правильный путь и подняться к водоразделу до озера, из которого вытекает Ханка-Тарида. Вдоль берега реки стоят его капканы и ловушки на песцов, хорошие ориентиры.

Покинув верный остывающий «Буран», Саша шагнул в ночь.

«...Еду, еду, еду к ней...»

Прямо в лицо дует ровный, плотный хиус. Борода и усы, шарф на груди и опушка капюшона смерзлись в ледяную корку и стали одним целым. И руки... Отрезав кусок шарфа, Саша обмотал им руки, втиснул эти култышки в рукавицы, а затем еще и в карманы парки. Так-то лучше!

Эти шестьдесят километров Саша шел двадцать часов. К своей «избушке-промысловке», заледенелой палатке из старого брезента, подошел в самый разгар полярного рассвета, когда кажется, что солнце вот-вот появится из-за холмов.

Уф-ф! Наконец, можно прислониться к упругой стенке, расправить плечи и снять надоевшую, вросшую в спину двустволку.

Саша хотел было показать тундре кукиш, как делал не раз, уйдя от беды, но вместо этого продолжал стоять и смотреть как поземок вылизывает бледные щеки сугробов и, вытягиваясь на юго-восток, растут твердые пальцы застругов.

Тундра дышала и двигалась вся в синем снежном дыму. Сто раз виденная и всегда колдовская картина.

Так! Обогреться и спать! На припечке, в полиэтиленовом мешочке, придавленный камешком коробок спичек.

Всего несколько минут, как снял рукавицы, а руки, и в прежние годы уже не раз прихваченные морозом, отказываются шевелить пальцами. Кулечек разорвал зубами. Но пальцы...

Напрасно дул Саша на пальцы, одну за другой роняя спички в снег, напрасно пытался отогреть, запихивая в ледяную щель рта и прикусывая зубами. Для застывших потерявших чувствительность пальцев, спичка – слишком мелкий предмет... «Эх, Таня, твои бы сюда рученьки, твои бы пальчики, твое бы дыхание...»

Поняв, что разжечь огонь не удастся, Саша опустил на оленьи шкуры у стены и мгновенно заснул. Минуту или час продолжалось это забытие, но проснулся Саша от ясного сознания, что замерзает.

Об угол печки разорвал парку на груди, так, что вылетела дужка, и брызнули пуговицы. Сунул руки под мышки. Сквозь лихорадочный озноб, сотрясавший все тело, радостно почувствовал покалывание в кончиках пальцев...

От капкана к капкану, медленно, как в воде, бредет по тундре рослый мужчина. И, если споткнется о заструг и упадет, то, так и быть, отдыхает, а если нет, – идет дальше.

Так же дует в лицо безжалостный хиус, так же дымится поземок, и так же сквозь тонкую облачность льется сияние. Но дужка от стула уже не топорщит парку на груди, дуло ружья не торчит над ухом, и целлофан букета давно рассыпался в прах. Но каждый раз мужчина поднимается и проходит еще немножко.

«...Еще не вся черемуха в твое окошко брошена...».

В тысячный, наверное, раз за эту неделю выходила Таня на порог слушать тишину. Двадцать пятого декабря предчувствие беды стало невыносимым.

Все шесть собак лежали в пристройке, уткнув носы в лохматые животы.

Мороз.

Мельком глянула Таня на термометр.

Сорок два.

Ладно.

Сорок два – не пятьдесят.

Неохотно встали псы в алыки, но потом разогрелись, ходко пошли знакомым путем вдоль капканов.

Часа через два вожак круто развернул упряжку, так, что Таня чуть не выпала из саней, и завыл, вскинув голову к размытой облаками луне.

На склоне сугроба на коленях стоял человек и неловкими слепыми движениями старался поднять упавшую с головы шапку.

«Пьяный, что ли?.. Господи, да это же...»

– Саша?

Медленно поднял он голову. Толчком вылетел пар и белой пылью рассыпался в воздухе.

«...Заря моя вечерняя, любовь неугасимая...»

– Саша!!!

В ответ полувздых-полустон.

Таня уже рядом.

Руки! Что с руками у него? Где рукавицы? Шарфом заматал... И что это? Свитер что ли разрезал..? Ни «Бурана», ни ружья и пустая ножна на поясе...

– Больно тебе, миленький? Дай-ка руки сюда, дай их сюда, сейчас отогреем под моей паркой..!

Долго ждут собаки прильнувших друг к другу посередь тундры мужчину и женщину.

– Домой! – Любимая команда. Домчали за час.

Какая благодать, зайти с мороза и ветра в жилую избу! Как хорошо вдохнуть запах свежее испеченного хлеба и увидеть красные угли сквозь щели печной заслонки!

Первым делом – руки мужа в холодную воду. Ведерко угля в печку, чайник на огонь.

– Ах, Саша, Саша... – медленно разламывает она ледяную корку на его лице, освобождая бороду от вмерзшего в нее воротника свитера от которого, похоже, один лишь воротник и остался...

Сняла с него парку и на пол выпали гвоздики. Мятые, ломкие, черные...

– Спасибо, милый!

Помаленьку начинает она плакать. Лицо мужа до неузнаваемости распухло. Вместо глаз – щелки, на шее толстые красные полосы и такие же красные вывернутые губы.

– И какой же ты стал страшенький, губошлепистый... Прямо великий вождь Чака Зулу... Устроил праздничек, змей шершавый!

Вождь зулусов Шершавый Змей, он же Лапушка, Касатик и Чучундра моя ненаглядная, что-то бубнит и качает головой, но чай пьет сам, неуверенно держа чашку сардельками пальцев цвета перезревшей малины.

– Будем жить, Саша!

Опять видит она его стоящим на коленях в сугробе. Все ловит и ловит упавшую с головы шапку... И слезы опять каплют в чашку с чаем и она садится рядом и прижимается к его красной обмороженной щеке своей красной от печного жара щекой.

Чашка выскальзывает у него из рук и падает на пол.

Саша заснул, и Таня укладывает его в постель. Выходит в сени накормить собак. Поднимает с пола мятые черные цветы. Оглаживает их, распрямляет и ставит на стол, в банку с водой. Может, отойдут. Гасит лампу, и ложится рядом с мужем.

Уютно, тепло и тихо. Потрескивают дрова в печи, пляшут отсветы огня на стене, да ветер скользит по крыше.

Медленно проводит она рукой по милой буйной головушке, по чисто выбритому затылку. Старался. Хотел понравиться. Лапушка...

«Господи, Царь небесный! Не умею я молиться. Не научили... не показали... не донесли... Но прими, Господи, бесконечную благодарность мою, что наполнил Ты мне сердце

тревогой, что дал поспеть вовремя... Продли нам, Господи, медовый месяц, продли нам его надолго».

Пора оставить их одних. Могу лишь добавить, что один из цветков ожил. Нет, не красный. Белый.

«...Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей!...»

Макарова Рассоха

*«Не собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют,
а воры подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища на небе...
ибо, где сокровища ваши, там будет
и сердце ваше».*

Евангелие от Матфея гл. 6. 19-21.

Макарова Рассоха течет там, куда Макар телят не гонял.
Макарова Рассоха воробью по колено.

Макарова Рассоха девять месяцев в году не течет.

А три месяца течет.

В янтарных берегах.

Долгой стылою зимой ее глубокий каньон – лишь морщинка на белом лице тундры, но приходит благословенный июнь, и поднимается паводок, бешеный и веселый, как вены на руке рыбака вздуваются тундровые потоки, и становится Рассоха полноводной рекой, и вымывает из мерзлоты берегов красивые, желтые камешки, теплые и приятные на ощупь. Бросишь такой в костер или подожжешь спичкой и услышишь запах древнего знойного лета, давно умершего ветра и давно отшумевших лесов.

И быют в берега мутные вешние воды, и вымывают грубые кости и спиральные полуколеса мамонтовых бивней.

И туго скрученные струи распиливают высокие берега, на которых тундровые кочевники имеют обыкновение хоронить

своих мертвых. И схлынут воды, и останутся на черном песке белые косточки живших до нас людей...

По левому высокому берегу Макаровой Рассохи стоят охотничьи пасти старика Евдокима. Евдоким не признает капканов. Основная деталь пасти – тяжелое падающее бревно. Оно убивает песка на месте. В капкане же песец долго мучается, частенько откручивает себе лапку и уходит, чтобы потом все же погибнуть в тундре. Поставить капкан относительно легко. Чтобы сделать и настроить пасть, надо много потрудиться.

И капканы, и пасти требуют ежегодного осмотра и ремонта. Охотники занимаются этим в конце лета, когда исчезает комар – мученье для человека и животных, и корм для птиц и рыб.

Обычно старик обходит свой участок пешком. Но в этом году у него «пневматик». Три рослых кобеля: белый, черный и рыжий шустро тянут по моховой тундре легкую двухколесную тележку. На тележке от пасти к пасти с комфортом едет сам Евдоким, его лопата, вещмешок и связки колышков для ремонта.

Километров пять-шесть отъехал старик от своей базовой избушки, старой заплесневелой развалюхи, построенной, наверное, еще тем самым Макаром-первопроходцем, как вдруг услышал странные звуки.

Как будто мелкие камешки быстро бросали на железный лист, как будто с треском ломали ветки для костра, как будто лопался от мороза лед на реке. Последние звуки дед распознал. Это «голос» тяжелого охотничьего карабина калибра девять миллиметров.

Вперед, собачки! Совсем рядом большая охота! Достанется и вам на зубок, лохматые!

Собаки рванули и бросились в распадок, где впадает в Рассоху безымянный ручей.

На берегу ручья горел пневматик. Настоящий. Новый. Четырехколесный. Бензобак и камеры, пожираемые огнем, густо чадили в вечернем воздухе.

В стороне от машины, лицом вниз, – человек. Собаки обнюхали его, сбились в кучу, перепутав алыки, и завyli. Евдоким подошел.

Кровь уже пропитала мох и гальку и широким языком застывала на песке. Не без труда, Евдоким перевернул убитого лицом вверх. Заросшее черной бородой молодое звероватое лицо с перебитым носом и шрамом на левой скуле. Пуля угодила в шею. Из раны все еще вытекала густеющая кровь, последнее тепло жизни...

– Эх, какой молодой!..

Тундра вокруг – как железным прутом исхлестана. Длинными полосами лежал вырванный мох – пули ложились почти параллельно земле, значит и тот, второй, стрелял лежа. Но где же он?

А вот! В двухстах шагах, под нависшим козырьком – берегом, небольшая палатка. Странная палатка. Не поймешь, какого цвета. Вся в бурых, серых, палево-блеклых пятнах, как мундир пограничника или куртка геолога.

– Э-эй, кто-нито живой есть?

Деду никто не ответил, и он, стараясь как можно больше шуметь, покрикивая: «живой – выходи, однако!» – подошел к палатке. У входа – лопнувший от удара о землю вещмешок со свежим оленьим мясом, и густо кровь на мху. Евдоким оттянул тяжелый от грязи и крови полог и, ежесекундно ожидая выстрела в грудь, закрепил его на крыше застешкой...

В палатке, на раскладушке, сидел крупный тяжелый мужчина. Белобрысый и белобровый. Он раскачивался и мычал, сузив черные от боли глаза. На его груди висела половинка бинокля. Другая половинка кашей из стекла, металла и крови стекала вниз по животу на руки, сжимавшие тяжелый карабин. Увидев тщедушного скуластого старичка, блондин выпустил оружие из рук. Падая, карабин увлек за собой стоявший у примитивного столика пластиковый мешок, и рассыпались веером желтые камешки, каких много на песчаных плесах Макаровой Рассохи и впадающих в нее ручьев.

Мужчина поднял правую руку и промычал:

– Там-м... Б-бинт...

В кармашке на стенке палатки старик отыскал бинт, йод и таблетки.

И здесь – пуля слева в шею. Только чуть пониже, там, где толстое мясо над ключицей. Оба отверстия, входное и выходное, обильно кровоточили. Дед, как мог, забинтовал рану, пропустив бинт по правую руку. Затем уложил раненого, расстегнул на нем рубашку такого же цвета, что и палатка, смыл кровь на груди и выбрал из растерзанной плоти осколки стекла и металла от разбитого бинокля.

Лицо незнакомца стало белым, как снег, и он тихо «заснул». Евдоким попытался его растормошить, понимая, что лучше, если раненый будет в сознании, но ничего не добился. Сердце геолога, впрочем, билось ровно, и дед немного успокоился.

Собаки продолжали выть. Евдоким прикрикнул на них, отстегнул алыки, освободив своих лохматых коней, и подошел к убитому. Присев на корточки, как это принято у кочевников, он долго сидел, горестно разглядывая незнакомое угасшее лицо, жалея о молодой жизни, негромко приговаривая на родном языке...

С помощью собак выволок он труп на крутой берег Макаровой Рассохи и там похоронил в тесной могилке, прикрыв тело куском брезента. На брезент, в ноги, положил он и оружие неизвестного, маленький карабин с коротким стволом.

От своей тележки дед оторвал доску, ножом расщепил ее надвое и водрузил над могилой крест, как это принято у белых людей. Нюча* в палатке продолжал спать. Дыхание его стало глубже и ровнее, обморок перешел в сон, а сон исцеляет.

На берегу ручья старик развел костер, сволок поближе к огню рюкзак с мясом, нарубил и бросил собакам по доброму куску оленины и поставил кости вариться в котелке. Нанизав на ивовый прут несколько кусочков мяса, слегка подрумянил их на углях и так, без соли, сжевал.

* Нюча – так называют русских долганы.

В середине августа на этих широтах ночи еще не ночи, так, светлые сумерки. Но в палатке темно. Евдоким нащупал и зажег свечу на столике и тогда увидел, что белобровый следит за ним живым настороженным взглядом.

– Кушать будешь, – геолуг? – обрадовался дед.

– Нет... – чуть слышно.

– Когда олень больной, когда собака больной, – ничего не кушает, только вода мало-мало пьет! Так и человек нада! Шурпа, однако пей!

И он заставил раненого сделать несколько глотков крепкого мясного бульона.

– Теперь спи, однако. Утро будет – думать будем. Крепко спи – здоровый будешь. Какое тебе имя звать? Андрей? А я – Евдоким Нилович буду. Тут рыбак, тут охотник. Тут свой старуха хоронил, тут сам помирать буду... Еду-еду – стреляют, однако? Много стреляют – большой охота! Быстро-быстро, собачки! Однако, вот какой охота...

Евдоким еще долго возился, подтыкая под раненого спальник и устраивая ему удобное изголовье. Сам он прошел к костру и расстелил подле него оленью шкуру.

– Янго! – позвал негромко.

Рыжий пес, самый крупный, подошел, ласкаясь. Старик погладил его, потрепал и уложил рядом, со спины.

Часа через два заметно похолодало. Дед, пригретый собакой, продолжал спать у потухающего костра. В это время два других пса покончили с обнюхиванием незнакомых предметов и обследованием местности. Как-то незаметно, оба разом, оказались они подле рюкзака с мясом. Некоторое время псы спокойно лежали рядом с лакомством, настороженно пошевеливая ушами, зорко вглядываясь в спину спящего хозяина.

Наконец, обе морды одновременно рванули плотную ткань. Рюкзак, и без того лопнувший по шву, затрещал и порвался. Спокойно, без драки, недозволенное пиршество началось. Но Евдоким не проснулся.

Тогда Янго, через силу терпевший подобное нахальство и давно уже подбиравший слюну, начал помаленьку-потихоньку,

миллиметр за миллиметром отодвигаться от спины хозяина. Еще минута – и он поспешил за своей долей. Негромкий рык, демонстрация клыков и, – грабь награбленное, – достался и Янго хороший кус.

Через час, оставив на мху чисто обработанные кости, псы разбрелись по своим местам: Ургал и Минго под тележку, Янго опять прикрыл хозяина со спины.

Тут выкатилось пышное кустодиевское солнце и враз пригрело отсыревшую палатку, отдыхающих собак и спящего деда, похожего издали просто на кусок оленьей шкуры.

Евдоким стал прикладывать к ране повязки из мелко нарубленных мясистых листьев полярной ивы. Из пораженного места начали обильно выделяться гной и обрывки ниток от пробитого пульей воротника куртки. Жар у больного прошел, опухоль спала, и на пятый день Евдоким решил возвращаться в зимовье.

Рано утром уложил он раненого и его оружие на тележку, собаки тихо тронули, палатка и могила остались позади. Белый нюча был крепкий мужчина, он пробовал идти сам, но, видя как трудно ему держать голову, Евдоким укладывал его в тележку.

Завидев избушку, собаки сильнее натянули алыки, дед радостно всполошился, но Андрей только горестно сомкнул тяжелые веки: над крышей высоко взметнулась тонкая жердь с антенной. Рация...

В зимовье, столь маленьком, что рослый человек, раскинув руки в стороны, свободно достал бы от стены до стены, темно и сыро. Евдоким держал геолога за руку, пробуя пристроить его на нижние нары. Но тот вдруг покачнулся и локтем сбил со стола ящичек рации.

– Ай-я, – запричитал дед, – как теперя доктора визивать буду? – Он поднял аппарат на стол и принялся подсоединять оборванные провода питания, затем уложил Андрея на нары и поспешил к ручью за водой.

Оставшись один, геолог дотянулся до рации, открыл гнездо предохранителя и ногтем выколул тонкий стеклянный

баллончик. Если рация, паче чаяния, осталась цела, дед вряд ли догадается сменить предохранитель, да и есть ли у него запасные...

Евдоким, вернувшись с ведром воды, застал геолога таким же слабым, как и в первый день, а из-под повязки опять показалась кровь.

Но в дальнейшем дело быстро пошло на поправку. Проснувшись однажды утром от упавшего на лицо солнечного луча, Андрей, вдруг радостно почувствовал себя отдохнувшим и крепким. Осторожно оторвал голову от подушки, повернул ее направо-налево и чуть не рассмеялся: исчезла тупая, тяжелая боль, наконец-то можно будет умыться самому!

Деда не было в избе: он встал еще раньше и сейчас, очевидно, проверял сети на озере.

Убранство избытки было крайне простым. Двое нар, столик у окна, два чурбана вместо стульев, печка, рукомойник и длинная полка над нарами. На полке виднелся ящичек с инструментом, мотки рыбацких шнуров и ниток, несколько старых журналов, прямоугольный сверток из ровдуги и, в самом углу, большая темная шахматная доска!

Фигурки, старательно вырезанные из мамонтовой кости, были все в наличии, видно, когда к Евдокиму наезжали гости, шахматами пользовались.

А в свертке из ровдуги оказалась Библия! Старое, дореволюционное издание на церковно-славянском языке в кожаном переплете с серебряными застежками.

Тяжелая эта книга производила впечатление вещи живой и теплой, как будто сохранила она тепло тысяч рук, впитала свет тысяч глаз представителей самых разных народов, печатавших, переплетавших, перевозивших эту ценность на край света, в таймырскую тундру, где она переходили от отца к сыну, уцелев от всех потрясений века.

В это радостное солнечное утро Андрей умылся сам и не из рукомойника в избе, а спустился к озеру, пофыркал, поплескался, осторожно растер больное место живою, холодною, звонкою водою, позавтракал куском рыбы и сел чинить бинокль.

Когда вернулся дед Евдоким, Андрей протянул ему уцелевшее «очко» от бинокля:

– Владей, деда!

– Ай, пасиба, сынок!.. Тундра без бинокля плохо! Теперь смотрю – все вижу! Ты мастер, однако!

– Сыграем? – геолог рассыпал по столу шахматные фигурки и стал расставлять их на первоначальную позицию.

– Давай! – дед тоже оживился.

Прежде, чем сделать первый ход, Андрей снял обе ладьи – медвежьи фигурки, и поставил их на стол.

– Не надо! Я хорошо играю! – Без тени юмора похвалил себя старик.

Усмехнувшись, геолог вернул фигурки на место.

Первую партию он проиграл.

Вторую тоже.

Третью свел вничью.

Евдоким не скрывал своей радости, но счел нужным утешить проигравшего:

– Ты молодой, однако. Хорошо думаешь. Только много-много там-там думаешь. Голова другой место ходит. А надо тут думать, крепко думать, тогда совсем хорошо играть будешь!

– Спасибо! – Андрей деланно рассмеялся и собрал фигурки. Евдоким крошил папиросу в свою трубку и закурил.

– Деда, вот тут у вас Библия. Вы читаете?

– Однако, неграмотный...

– Зачем тогда книгу держите?

– Матеря дала. Береги, говорила, шибко старый книга, Бог пишет. Ангелы.

– Вы, стало быть, верующий, – улыбнулся Андрей.

– Однако, так!

– Я тоже верующий, только в человека!

– Можно, можно, – согласился дед – только, когда много риба твой сети попадает, кому пасиба говорить будешь? Человек? Когда много песец твой капкан ловил, кому пасиба говорить будешь? Человек? Когда беда попадешь, как риба

сети, как песец капкан, кому караул кричать будешь? Тундра большой. Человек нету. Только Бог!

– Но, деда, мне же не Бог помог – вы!

Старик перестал курить и прямо взглянул на собеседника. Внимательный, немного усталый взгляд, кария радужка и белоснежные чистейшие белки глаз, признак физического и душевного здоровья.

– Меня, однако, Он послал. Так думаю. Рано – нет. Поздно – нет. Когда надо послал. Сверху смотрел, все видел, как мы бинокля смотрим... Мой дорога возле твой дорога близко делал... Как дальше будет, тоже Он знает... Зачем, однако, камушки мало-мало воруеть?..

И вот тут геолог почувствовал, как горячий стыд юношеским жаром бросился в голову, зардели щеки, и пересох язык.

«Вор!» Ах ты, старый гриб! Но, стоп, разве другим именем называется то, что ты делаешь сейчас в тундре и за что получил пулю? От такого же, в общем-то, авантюриста только более жадного и бесцеремонного...

Нет! Я поднял лишь то, что лежит под ногами, что никому не нужно, что все равно замочит илом или сотрет в порошок река. Разве я виноват, что никому нет дела до минеральных богатств этого края, по сравнению с которыми пушнина и рыба – мелочь, не стоящая внимания?

– Продавать буду, – через силу выдавил Андрей, не имело смысла лгать деду. – Деньги надо. Семья.

– Сынок есть?

– Жена и два сына!

– Хорошо! Только еще сына делай. Один сын – не сын, два сына – полсына. Три сына – это сын! Учить будешь? Геолуг будут?

«Эх, деда, знал бы ты, сколько всего надо для детей и во что обходится учеба! Слишком много веселых молодых парней у меня на глазах стали угрюмыми отцами семейств. Нет! В этой стране на зарплату не проживешь! Но я нашел свой путь. Своими руками и знаниями своими добываю я хлеб.

Никому не мешаю и пота проливаю больше, чем иной фермер на своем поле. Да, я не имею разрешения на сбор камешков на земле твоего народа, дедушка, но покажите мне того, у кого такое разрешение есть! Промышленного значения все эти мелкие месторождения не имеют, но старательский сбор янтаря вполне можно бы наладить. Наверняка, не я один тихушничая... А Норильский комбинат, отравивший все вокруг до самой Канады, имеет он разрешение на разработку недр на земле твоего народа, дедушка? То-то же...»

И все же, какая-то заноза, терзающая совесть, оставалась, и Андрей собрался уже все толком и доступно объяснить собеседнику, но замолк, увидев поникшего деда.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что у Евдокима было два сына и две дочери. Девочки умерли во младенчестве. Жена, здесь, на Рассохе, в прошлом году в одночасье умерла «от живота», во-о-н из окошка видно оградку вокруг ее могилки, а оба сына в пьяном виде погибли в несчастливый день. Сели в лодку и на полной скорости налетели на топляк*. Лодка перевернулась... Оба «немножко утонули, однако...» В поселке остались у Евдокима лишь старшая сестра и с ней – единственный внук, сын старшего сына...

Андрей уже собрался было кинуться в философский спор, что же, мол, за Бог такой, отнимающий у человека самое дорогое? Что же и за это ему «пасиба» говорить? Но тут заметил, что старик тихо плачет, смаргивая слезы на отмытые в тысячах вод, белые как у европейца, усталые руки, густо усыпанные старческой гречкой...

Наутро дед ушел на озеро, а геолог устроил стирку-уборку. Вымыл и вычистил избушку и пристройку, в большом баке нагрел воды. Белья у Евдокима практически не было. Вещей, подлежащих стирке, тоже. Рубашки дед надевал пря-

* Топляк – полузатопленное, плывущее вертикально в воде бревно.

мо на голое тело, да так и носил, пока не сопреют. Но штаны зашивал и ставил заплатки, но и они имели крайне ветхий вид. Всю жизнь проработав в тундре на богатом пушном и рыбном промысле, человек этот ничего не имел за душой. Даже зимнюю теплую одежду шила ему сестра из оленьих шкур.

Белье Андрей полоскал в чистой воде ручья и тут же развешивал сушиться на кустах карликовой ольхи. Привлеченная шумом и бульканьем, приплыла стайка хариусов и стала метрах в пяти выше по течению. Андрей бросил в них камешком – рыбки пустились наутек, но тут же вернулись, спрятались в тень от кустов и там притаились, как котята, карауляющие мышь.

...Радуетса глаз свету костра, притягивают взор изменчивые формы облаков, но больше всего волнует текущая непостоянная вода. Долго можно просидеть на берегу ручья, слушая его монотонное лопотанье, журчанье, плесканье. Бывает, так и заснешь, под тихий перепев струй. Так легко и так хорошо думается, под этот «белый шум», древнейший из звуков Земли.

В танце былинок на бегущей волне заметишь ты намек на свою судьбу, в мелькании теней на гладких камешках дна всплывут вдруг картины раннего детства, лицо матери и отчий дом, а в сплетении корней на том берегу видится копна волос, полулыбка, быстрый взгляд, и прорисуетса знакомый с юности женский профиль.

Осень уже обильно прошла красным и желтым бисером кусты ивняка и карликовые березки на лугу, долина ручья упиралась в дальний синий хребет, а тот отгораживал синее небо от синего озера. Небесное от земного.

«И ничего этого ты не увидел бы, не появись дед так кста-ти, так вовремя... «Сверху смотрел – все видал, как мы биноколя смотрим... Мой дорога возле твой дорога близко делал... Как дальше будет, тоже Он знает...»

Да, парень, тогда ты просто испугался обильно хлынувшей из раны крови и не знал, что делать, как поступить...»

В тот день, после удачной охоты, Андрей спускался с холма к палатке, как вдруг заметил катящий ему навстречу пневматик. Зрелище для тундры редкое. Он поднял бинокль.

Человек у машины тоже разглядывал его в бинокль, и было в человеке этом что-то зловеще-знакомое... Едва успел Андрей подойти к палатке и сбросить рюкзак с мясом, как ударила первая очередь и вдребезги разлетелся бинокль на груди...

...Тогда, в гостинице краевого центра, к нему в номер без стука вошли двое затянутых в кожу парней. Один с перешибленным, почти плоским носом и шрамом на левой скуле, второй – молодой, улыбчивый. Без обиняков плосконосый предложил тридцать процентов за совместную обработку «территории». Андрей лишь рассмеялся, сказал, что понятия не имеет ни о каких территориях, и попросил гостей удалиться. Уходить гости не желали, но желали купить карту. Тогда геолог вышвырнул обоих в коридор.

Но «братки» не кинулись драться. Плосконосый, снизу вверх глядя на геолога, шкафом нависшего в дверном проеме, осклабился:

– Пожалеешь...

Андрей захлопнул дверь и возбужденно зашагал по комнате. Камешки он сбывал всякий раз другому покупателю. Подыскивал клиентов и договаривался о цене старый институтский товарищ, человек надежный. На кого теперь думать?

Вечером следующего дня, возвращаясь в гостиницу, Андрей заметил за собой вчерашних знакомцев. Они и не думали скрываться. Младший даже сделал геологу ручкой!

Примерно за квартал до гостиницы начиналась заброшенная стройка, огороженная высоким глухим забором. Все фонари здесь были разбиты, улица лежала в темноте. Преследователи прибавили шаг.

«Та-ак, значит, здесь... Ну, не думайте, ребята, что на цыпленка напали...»

Войдя в темноту, Андрей резко оглянулся. Так и есть – бегут! Он повернул назад, и преследователи сами набежали на него. Удар пришелся старшему в перебитый нос. Мешком упал он на тротуар, звякнул и покатился по асфальту нож. Андрей подхватил лезвие и бросился на второго, но парнишка уже улепетывал, да так ловко, что сразу скрылся из глаз.

В гостинице Андрей обнаружил пропажу карты. Пометок на ней, правда не было, кроме единственной карандашной точки в том месте, где стояла палатка...

Собрав высохшее белье, Андрей поднялся к избе и здесь в голос рассмеялся: дед Евдоким испуганно отмахивался от огромного шмеля какой-то старой шапкой, а тот с тяжелым гудением, как бомбардировщик, пикировал на деда то справа, то слева, заставляя его отмахиваться и испуганно приседать.

– Деда, – сквозь смех крикнул геолог, – что же вы!.. В пристройку – и дверь закройте!

– Ай, правда! Ай, пустой башка! Совсем, однако, старый стал! – дед быстро юркнул в пристройку.

Выяснилось, что Евдоким еще весной повесил на улице, на шест, свою шапку, да и забыл про нее. Сейчас решил взять, а там «шмель свой щенки развел». Старик «щенков» вытряхнул, шмелю не понравилось...

На другой день, с утра, Андрей ушел к палатке, чтобы собрать рассыпанные там камни. Еще два пластиковых мешочка с янтарем были спрятаны километрах в двух от палатки. Весь груз можно было взять за один раз.

Покидая избушку, Андрей не мог не улыбнуться идиллической картине: на зеленой завалинке, угревшись на осеннем солнышке, мирно спали Евдоким и его собаки. Темное мозаичное лицо старого охотника, как бы составленное из кусочков всех оттенков коричневого, казалось частью дерева избы.

Издалека, очень издалека, слышен в тундре гул вертолета. Иногда за двадцать и за тридцать километров.

Этот звук, хотя и не походил на обычный гул турбин МИ-8, все же шел откуда-то сверху.

Вскоре показался и сам источник шума: низко над землей проплыла картинка из журнала – крошечный вертолетикик выписывал над холмами круги и зигзаги.

Геолог сразу понял, кто это такие, и чего хотят в тундре. Жаль, не успел... До палатки оставалось меньше километра.

Осторожно дополз Андрей до крупного валуна, снял рюкзак и карабин. Несколько взмахов ножом и широкий пласт моховой дернины легко отделился от мерзлоты. Под это бурое одеяло он и заполз, положил под живот пустой рюкзак, пристроил под руку карабин и замер.

Вертолетикик несколько раз прошел вблизи, затем прямо над головой. Сквозь плексиглас кабины виднелись лица двух человек.

Разглядывая летающую невидаль, Андрей горько усмехнулся: в других странах с этим просто, но попробуй ты у нас, в России, получить права на управление любительским воздушным судном! Затаскают по кабинетам и комиссиям. Но деньги делают все...

Пилоты, наконец, обнаружили палатку и приземлились на берегу ручья. Держа руки на невесть откуда взявшихся короткоствольных автоматах, они обследовали окрестности, вошли в палатку. Вынесли оттуда мешок с янтарем и, прихватив лопату, отправились откапывать могилку. Андрей приник к половинке бинокля.

Из могилы был извлечен такой же короткоствольный автомат, – а дед ни словом не обмолвился, – и, погоди-ка! Один из гангстеров спрыгнул в яму и там, наверное, обыскивал труп. Выпрыгнув, он торжествующе развернул перед вторым большой бумажный лист: карта!

Затем тот же «налетчик» принес из кабины вертолетикика фотоаппарат и заснял палатку, сгоревший пневматик на склоне и развороченную могилку. Строго с отчетностью в разбойничьей организации! Могилку кое-как забросали зем-

лей, отбросив в сторону крест, и забрались в кабину. Следуя извилинам реки, вертолетик пошел вниз по течению.

Андрей прикусил губу. Сейчас наткнутся на зимовье старого охотника... Предчувствие беды сдавило грудь, геолог зашпешил назад, и никогда еще пеший способ передвижения не казался ему таким несовершенным, как сейчас.

Между тем в кабине аппарата происходил такой разговор:
– Глянь, изба! А на карте нету! Может он здесь? Давай?

Второй кивнул. Вертолетик легко подпрыгнул на моховых кочках у самой избы. Лопаста задрожали и остановились.

– Никого, даже собак, – удивился молодой крепкий парень, летевший «пассажиром».

– Ну.

Оба с открытыми лицами вышли из кабины, но тут дверь пристройки открылась, три рослых кобеля с лаем бросились на незнакомцев, а следом показался и сморщенный дедок с трубкой в зубах.

– Ну во-от... – у «пассажира» сразу испортилось настроение. Деда теперь придется убрать, приказ был строгий, а убивать парню не нравилось, не втянулся...

– Здоров был, дедушка! – весело гаркнул пилот. – Показывай свое хозяйство! Чужой человек, высокий, светлый, случаем не заходил сюда?

– Заходите, однако, чай пить будем!..

Гости Евдокиму сразу не понравились, потому что не понравились собакам. Псы, обычно приветливые и любопытные ко всякому новому человеку, сейчас исходили злобным лаем.

С утра было у Евдокима тоскливо на душе. Станный сон приснился. Будто он вновь ребенок. И пурга. И холодно. И бегают, ищет родителей... И будто он – чайка. И летит. И внизу блестит река... И будто Ульяна, умершая жена его, снова здесь. Сидит у воды, чистит рыбу. Но как холодно и одиноко! От холода он и проснулся, хотя, угретый собаками, спал на завалинке...

На деда уже не обращали внимания. Все перерыли в избе. Парень сунул в сумку шахматы, хотел и Библию, но пилот съязвил:

– Побойся Бога! Сколько народу ее в руках держало! Думаешь, они моются, эти «дети природы»? Через одного – туберкулезники! Подхватишь, не говори потом, что не знал!

Парень брезгливо отбросил книгу в угол, но шахматы все же взял, уж больно фигурки красивые, и принялся изучать старое дедово ружье.

В пристройке старший разбойник тряс перед лицом деда выстиранной рубашкой геолога, столь большой, что в нее без труда можно было бы поместить двух человек дедовой комплекции.

– Не молчи, дед! Куда ушел этот человек? Раз стирался, значит, давно здесь живет! Или двое их? Вся палатка изнутри кровью измазана... Ранены? Где они?

– Однако, был. Однако, ушел. Кажин человек свое дело есть.

– Знаем ваши дела! Не хочешь здесь говорить, в милиции скажешь, там язык быстро развяжут! – и еще что-то кричал старику и даже топал на него ногами.

«Нет добра от этих нюча на свете... Всю тундру солярой залили, изорвали гусеницами вездеходов... Рыба болеет, олень худой, гусей не стало... Теперь им камушки надо... Тот нарочно рацию разбил, эти бегают, его ищут... Суета сует... Камушки вам? Так я знаю место – хоть лопатой гребь... Бери – не жалко!»

Во дворе собаки бросились на младшего разбойника, тащившего сумку с краденным, и белый кобель прокусил ему икру ноги. Ударила очередь, и оба пса, Ургал и Минго, отчаянно скуля и орошая кровью мох, покатались по земле.

– Ты что, сдурел? А если этот рядом? Собак добей, дура, стрелять не умеешь! – Длинной очередью «пассажир» прошил собак еще раз. Истошный визг затих.

Старый охотник, казалось, лишился дара речи. Он не протестовал, когда пилот за шиворот втащил его в вертолетик и

втиснул в проем между сиденьями. Аппарат легко поднялся и низко пошел над холмами. Километрах в трех от избы показалась поросшая карликовой ольхой балка, на дне которой блестела нить ручья. Пилот потянул ручку на себя и, когда машина набрала высоту, коротко крикнул «пассажиру»:

– Пошел! Ну!!!

Парень открыл дверцу, схватил деда за плечи и выкинул его из кабины. Еще раз низко прошли над оврагом. В кустах, у самой воды, лежало нечто бесформенное, серое, только что бывшее живым человеком... Младший тихо вытолкнул бледными губами:

– Надо было в озеро – концы в воду!

– Дура! Труп всплывет – улика! А так – песцы растаскают, как и не было!

Евдоким, упавший на плотные, перевитые между собой кусты ольхи, скоро пришел в себя и, цепляясь руками, – ног будто не было, – пополз вверх по склону. Через полчаса он дополз до полянки и повернулся на спину, чтобы видеть небо. Но сразу же понял, что так лежать нельзя. Кровь из проколотого сломанными ребрами легкого обильно заливала рот. Лицом вниз ее удавалось сплевывать, а теперь ее вязкая масса затрудняла дыхание.

Помогая себе руками, Евдоким с трудом повернулся на правый, менее пострадавший бок. Так тоже видно кусочек неба. Все. Силы кончились. Только глаза еще видят, и сердце бьется.

...«Благодарю тебя, Господи, что даешь мне умереть в сознании, со всеми проститься, у всех попросить прощения...

Но кто это?.. Янго? Я-анго!.. Как хорошо, что пришел ты, Янго! Какая у тебя красивая, теплая, густая шерсть! Как часто грел ты меня зимой и летом... И теперь прибежал...»

Большой рыжий пес, на котором шерсть стояла дыбом от страха, скулил и метался над хозяином. Он облизал старику руки и, тихо поддев легкое тело хозяина носом, принялся вылизывать ему кровь на губах и подбородке.

«...Янго... Не делай так, Янго... Так тяжело, так трудно стало дышать... Правильно, Ульяна, прогони дурного пса, прогони его палкой!.. Дай мне руку, Афанасьевна, дай мне руку, помоги мне встать!»

«Пойдем, – тихо сказала Ульяна, – пойдем со мной. Там тебе не будет больно...»

Андрей скорее почувствовал, чем услышал далекие выстрелы и побежал. Чувство раскаяния и запоздалая злость удвоили силы. «Осел! Ка-акой ты осел! Знаешь ведь, что эти не ведают жалости. Стрелять надо было, сразу надо было стрелять, а ты...»

Белый пес издох, положив голову на порог... В избе все раскидано, перерыто, перевернуто...

– Евдоки-им! Де-еда-а! Ургал! Янго! – стал кричать геолог во все стороны и тогда услышал из кустов тихий собачий скулеж.

Черный пес, прошитый многими пулями, лежал у самой воды с перебитым позвоночником. Он слабо лизнул Андрея в руку и снова жалобно заскулил.

– Ах, Ургал, Ургал, что они с тобой сделали, сволочи! – Андрей присел на корточки, набрал пригоршню воды и дал собаке напиться.

– Прости, Ургал! – И выстрелил псу в голову.

Но не успел геолог подняться к избе, как рыжим вихрем налетел Янго. Он выл, скулил, вскакивал лапами на грудь человеку, норовя лизнуть в лицо, отбегал и подбегал вновь.

И когда человек понял и побежал, пес огненным факелом помчался впереди.

Легкое тело Евдокима Андрей принес на плечах. Могилку выкопал на берегу Макаровой Рассохи, в оградке, рядом с могилой жены старого охотника.

«Прости меня, дедушка, виноват я перед тобой... пойдем, Янго, я думаю, они еще вернутся...»

Прибывая вечером в зимовье, Андрей нашел отброшенную в угол, раскрытую на Евангелии от Иоанна, Библию. Зажег керосиновую лампу и так и просидел над старой книгой до утра.

«Они» прилетели на следующий день. Андрей, хотя и ждал, едва успел вынуть стекло из окна пристройки и вставить обойму в карабин.

Почти беззвучно, как на санках, скатился вертолетик с холма, и оба вчерашних крутых мужика направились к избе.

«И где же в этой летающей жестянке бензобак?»

И двух шагов не отошли гангстеры от вертолетика, как ударил выстрел, в куски разлетелся плексиглас кабины, полыхнуло огнем и спины обоих «налетчиков» враз охватило горящим бензином.

Побросав оружие, они стали кататься по земле, срывая с себя одежду. Младший, которому досталось больше, с диким воплем прыгнул в ручей. Его изрубленная осколками плексигласа спина представляла собой сплошную рану. Пилот же, напротив, быстро пришел в себя и сразу потянулся к автомату.

Не надо! Вторая пуля шевельнула мох под самыми пальцами. Только тогда пилот встал с колен и медленно поднял вверх руки.

На лице нет страха. Лишь досада и злость. Не в силах смотреть на черное дуло в окне пристройки, он отвернул голову.

Мушка остановилась на измазанном сажей ухе.

«Сейчас нажму! Не думай с-скотина, что я тебя пожалею! Хватит мне возни и с тем, что сейчас барахтается в ручье, и кричит, словно женщина в родах».

Еще секунда. Уже видно, как внезапно выступивший пот протаял дорожку на грязной щеке. Но третьего выстрела все нет. И уже не будет.

В прорези прицела появляется вдруг печальный дед Евдоким. Тихо, очень тихо что-то он говорит... И сердце возвращается в грудь, и карабин медленно опускается вниз...

Далеко-далеко на севере течет одна из малых рек моей родины.

Дикие гуси ее вброд переходят.

Дикие олени вплавь пересекают.

Дикие утки жируют на плесах.

Древний оленный народ кочует на ее берегах.

Холодной ветреной зимой ее глубокий каньон – лишь морщинка на белом лице Тундры. Но приходит благословенный июнь, и поднимается паводок бешеный и веселый, как вены на руке рыбака вздуваются тундровые потоки, и становится Рассоха полноводной рекой, и плывут, и плывут на правый берег оленье стада, и несут, и несут в своем извечном стремлении на Север целые леса тугих тяжелых пантов*, налитых хмельной горячей кровью, древней и неукротимой как весна.

А сойдут воды, и останутся на черном песке легкие теплые камешки, то ярко-желтые, как солнце над тундрой, то темно-красные, будто застывшая кровь живших до нас людей.

Сизигийный** отлив

Hunger und Liebe regieren die Welt...

Любовь и голод правят миром...

F. Schiller

Ночью утих западный ветер, всю неделю прижимавший льды к берегу. Вызвездило, и пал мороз. А под утро – вот оно, долгожданное! Тяжелый удар и низкий гул от рухнувшей в воду колоссальной стены торосов. Начался отлив.

Промысловая избушка на островке посередине бухты вздрогнула и откликнулась вибрацией всех своих звонких, крепких

* Панты – весенние растущие рога оленей, мягкие и гибкие, покрытые темной шкуркой с коротким блестящим ворсом.

** Сизигийный – наибольший прилив-отлив, бывает один раз в два года.

бревен. Охотники-промысловики, спавшие на нарах, на стульях и просто вповалку на полу, зашевелились.

– Па-а-адем, ребята! – зычно заорал старшой на льду, Савельев.

– От-т злодей, не дал «вторую серию» досмотреть! Только она стала раздеваться, – на тебе, заблажил!

Шутника, однако, не поддержали. Кто-то уже брякнул спичками, зажег свечу и керосиновую лампу на подоконнике. Не чаевали – время не терпит. Похватав оружие, по одному выскакивали во двор. Уже светло, мушку видно. Иван Данилов, мужик аккуратный, карабин у него, как скрипочка, в футляре, торопился пристрелять его на протоптанной с вечера дорожке в сто метров. Как всегда, он ворчал, кляня конструкторов, упрятавших стекла в алюминиевый тубус. А ствол стальной. Разный, мол, температурный коэффициент. Как мороз, так по новой пристреливать. Каждый раз два-три патрона сжигаешь, а их и так всегда не хватает...

Впрочем, не у всех оптика. А у кого есть, не все пристреливают. У большинства, как у того Левши, «просто глаз пристрелявши». Истомившиеся от долгого безделья люди, быстро, по два-три человека, впрягались в лямки плоскодонных лодок-припаек и тянули их сквозь торосы на край трещины. Благо, море открылось на этот раз всего в трехстах метрах от избышки.

Сергей Давыдов, новичок на припае, и старый охотник Михаил Кушаков, тоже подтянули свою лодку на край ледяного бруствера.

Черная молния трещины курилась густым туманом. Справа и слева она терялась в торосах, а прямо перед охотниками росла и ширилась на глазах, плюясь мелкими льдинами и снежным крошевом. Тут и там на воде появлялись футбольные головы нерп, всплывавших глотнуть воздуха.

Защелкали малокалиберки, захлопали «Барсы», бабахнули короткие кавалерийские карабины и тяжело грохнули охотничьи «девятки». Кто к какому оружию привык или кому какое досталось на складе.

Выстрел. Маслянистый круг крови на воде у головы убитой нерпы. Стремительно летит в воду плоскодонка-припайка. Два-три гребка. Удар крюком. Туша надежно подвешена за край лодки. Теперь, продавливая нарастающий ледок, назад, к напарнику. Тот помогает вытащить добычу на лед и вновь скидывает винтовку, выжидая.

Часа через два нерпичье стадо, распуганное выстрелами и шумом, откочевало на другой берег трещины, уже едва различимый в тумане. Перекур. Кто зажигает сигарету, кто припас термос с чаем. К таким подбегают «остограммиться» или просто погреть руки о горячую кружку. Идет разговор на всякую тему, но только не о главном: кто сколько добыл, кто мазал-шляпил, кто нет, кому больше везло, кому меньше. До конца дня нельзя об этом: удачу спугнешь.

Через какое-то время подошло второе, не такое многочисленное стадо нерпы. Этим животным, чтобы сделать вдох, приходилось уже продавливать носом тонкий серый ледок.

Неожиданно Кушаков подал напарнику бинокль:

– На-ка, глянь... плывут, как торпеды! Ветер кровь нанес. Ну, будет потеха!..

От другого края трещины сюда, под пули охотников, плыл какой-то продолговатый кусок льда. Поправив резкость, Сергей различил на молодом льду голову медведя. За ней в чистой воде, как в кильватере ледокола, плыла еще одна голова поменьше. Добравшись до этого берега трещины, медведица выпустила черные когти, в два прыжка одолела ледяной барьер и отряхнулась. Вслед за мамашей то же самое проделал и небольшой медвежонок-пестун.

Не обращая никакого внимания на крики людей и выстрелы из ракетниц, животные, обезумевшие от вида и запаха пищи, бросились к ближайшей куче убитых тюленей и пустили в ход когти и зубы.

Нерпы эта были добычей Матфея Черенкова и Володи Самохвалова, того самого любителя «многосерийных снов». Черенок продолжал пускать ракеты, сквернословил и был

вне себя от злости. Не будь запрета на отстрел белых медведей, он, конечно, уложил бы обоих зверей на месте.

– Ну, что ты стоишь?.. Гони их, гони! И на хрен мне такой напарник! Вмиг всю зарплату сничтожат, проклятые!

В горячке он подбежал к медвежонку шагов на десять, и тот сразу прыгнул навстречу пищевому конкуренту и зашипел, вытянув трубочкой черные губы.

– Да не тронь ты их! Хоть и малой, а врежет лапой – не очухаешься, – отвечал напарнику Самохвалов, тоже новичок на льду – Нехай жрут, вишь, оголодала семейка, одни «шубы» остались.

Животные и в самом деле были до крайности истощены и больше походили на борзых собак, чем на белых медведей. Не то, что ребра пересчитать, – даже позвонки хребтов и узлы сухожилий четко проступали под обледеневшими шкурами.

– Ну как – не тронь? Как – не тронь Подарок им? Пусть сами добывают – на то зверье... Да стегани ж ты ее!

– Как это «стегани»? – не понял Самохвалов.

– Н-ну, чтоб пуля под шкурой прошла. Сразу уйдет – дело проверенное!

– Ты что – у меня «девятка»? Мне же и отвечать потом, если что...

Подошел Савельев.

– Надо, парни, отвадить зверей, а то прикормятся – всю работу спортят.

Он взял у Володи карабин и выстрелил медведице под живот. Тяжелая пуля рванула лед. Было видно, как осколки льда ударили зверя по ногам и по брюху. Ноль внимания!

– Вот! Ну как с ними? Ни ракета ей, ни что... Эх-х...

Черенков одернул с плеча свой «Барс» и прицелился так, чтобы пуля прошла по касательной к телу зверя. Хлопнул выстрел. На крутом заду медведицы взлетела шерсть и быстро закапала черная кровь... Медведица рывкнула, схватила себя зубами за больное место и заспешила прочь, но тотчас вернулась, оттеснила пестуна от недоеденной нерпы и увела его за собой, в торосы.

Тюленей, конечно, распугали. Охотники стали грузить добытых нерп в сани, уезжать с припая. Кушаков и Давыдов тоже увезли свою добычу в сарай и сложили там штабелем.

В избушке охотники чаевали. Каждый выложил на стол, что жена собрала в дорогу: сушеную и копченую рыбу, вареную оленину, картошку, сало, яйца. Выбор небогатый, зато много!

Распаренный чаем, Черенков продолжал жаловаться на свое невезение. Надо ж, именно к их добыче кинулись голодные медведи! А ведь всего-то десяток добыто. А вот Пашков – тот двадцать три успел... А за прошлый месяц, за весь месяц на льду и морозе, всего три тюленя отстреляно. На двоих! Как жить, чем семью кормить? А этот «пускай жрут!» говорит! Свое и отдавай, а раз вместе нажито, вместе и защищать надо, так или не так?

Ему вяло поддакивали, разговор не шел.

Не в силах выносить нытья этого враз опостылевшего ему человека, Сергей вышел из избы и вновь побрел на припай.

Медведи были на месте. Звери грызли и вылизывали пропитанный кровью лед... Завидев человека, медведица зарычала на пестуна и увела его за собой, в синюю мглу торосов. С красным пятном на задку она заметно хромала. Черенков «стеганул» от души. На льду, там, где грызли медведи, осталось несколько ямок. Если бы смести со стола всю оставшуюся снедь, как раз бы наполнились...

Февральский день закончился, и море медленно погружалось в серый кисель сумерек. Трещина дымила уже только отдельными полыньями – «окнами». Завтра можно будет охотиться у самых окон, если все не сотрет в мелкое крошево сизигийный прилив.

Илья Рубин

Страх

Юрий Борисович Хайкин, Юрочка, снимал просторную комнату в старой барской квартире, где ветхие жильцы подерживали в прихожей, кухне и сводчатом коридоре хрупкую чистоту, пахнущую мастикой и лавандовым мылом.

В квартире жили призраки: полковник царской армии, пятьдесят лет игравший на советской сцене полковников царской армии, безымянная старуха, окруженная сворой дымчатых кошек, лившихся тяжелыми струями около ее худых ног, дряхлый, полуразвалившийся террорист, интимный друг Желябова и Софьи Перовской, и последний московский тапер Владислав Карлович Шмуль.

В квартире почти никто не умирал – а если и случалось кому-нибудь умереть, он еще долго не мог поверить в свою свободу и совершенно исчезнуть, продолжая по утрам запирается в туалете и нежно позвякивать чайником возле газовой плиты.

Лишь два человека рисовались выпукло и четко на фоне предсмертного арбатского гобелена – сам Юрочка, младший научный сотрудник со степенью, и Боксер, каменный мужчина. Его мышечное строение позволяло ему работать грузчиком на овощной базе, где всю ночь он перекидывал с места на место круглые арбузы и мешки, полные густого землистого картофеля, а утром отправлялся на тренировки, где квалифицированные люди укрепляли его страшное здоровье.

Днем Боксер спал, а вечером – гулял, оглашая утробным рыком стены, украшенные барельефом из купидонов и остроконечных листьев.

Отношения у Юрочки с Боксером как-то не сложились. Правда, в первый месяц после Юрочкиного вселения они пили вместе несколько раз, наливая напиток необычайной крепости, любовно настоенный Юрочкой на можжевельнике и тмине, в пузатые рюмки зеленого стекла.

Но когда от Боксера ушла жена, вконец запуганная его рычанием и половой мощью, наметившиеся было контакты сразу прекратились. В квартире воцарилась тягостная атмосфера неминуемой ссоры. Боксер молча и бессмысленно возревновал к Юрочке свою бывшую жену, ища причин разрыва и не умея найти их внутри себя. Так в доселе безмятежную жизнь Юрочки вошел страх.

Сначала Боксер пытался поговорить с ним о своей ужасной ревности. Он входил к нему в комнату и топтался у порога, сморщивая маленькое гладкое лицо, перечеркнутое рыжими усами. В бессильном желании высказать себя он бегал по комнате, заваленной книгами и пачками сигарет. Он подходил к окну и начинал смотреть в него, тоскливо озираясь. Юра тоже выглядывал в окно, и оба они беспокойно оглядывали уютный дворик, полный старух и тополей.

Потом Боксер уходил, проклокотав на прощание что-то жалкое и угрожающее.

Но вскоре язык был найден. Однажды Юрочка звонил по службе, вежливо занимая коммунальный телефон, прищипленный к стенке возле кухни. Боксер вышел в коридор, одетый в белую майку и синие тренировочные штаны. Он приблизился к Юрочке спереди – так, чтобы видеть его лицо, и начал медленно перекачивать под кожей желваки мускулов, поочередно напрягая сочленения и суставы.

На первый раз он этим и ограничился, но Юра сразу же и без труда понял страшный смысл его демаршей. Он скомкал важный разговор и быстро удалился к себе, но покоя так и не обрел до самого вечера.

Невеселое будущее плотно застряло между блестящей поверхностью его карих глаз и толстыми крышками век. В этом недалеком будущем Юрий Борисович Хайкин, Юрочка, лежал на грязном полу коммунального коридора, или стоял мучительно согнувшись, или бежал, выкидывая ноги, забывшие детскую быстроту, но везде его настигали удары тяжелых кулаков, падали на него как яблоки, превращая слабое тело в комок бессильного и бесполого страха.

Он, Юрочка, защитивший диссертацию с мудреным химическим названием, будет кричать тонким противным голосом, умолять о пощаде, плакать – о, ужас! – плакать, неумело шмыгая носом и судорожно сглатывая.

Весь этот кошмар прочно поселился в просторной барской комнате, старомодно ограниченной двумя диванами красного дерева и резным комодом.

События надвигались неотвратно. Боксер подстерегал его у дверей и показывал жестами, как будет душить его и бить. Он вращал громадными руками, шевелил пальцами и плечами. Юрочка научился бояться и стал в этом деле виртуозом. Ночами он кричал и комкал простыню, а когда просыпался – лицо его было мокрым от слез. Он все время ждал вторжения, и жесты его сделались угловатыми и ломкими.

...Воскресный вечер был тихим и прохладным. У пивных ларьков никто не ссорился из-за очереди, потому что погода стояла очень хорошая. Юрочка сидел у окна за своим стареньким письменным столом и заканчивал печатать статью, уже более месяца ожидаемую от него в редакции химического журнала.

По привычке он прислушивался ко всем звукам, доносившимся из коммунального царства кухни и коридора, но он был недалеко от того, чтобы забыть на несколько блаженных часов все и работать самозабвенно до ломоты в глазах.

И в этот момент почти успокоенная квартира огласилась звериным воем. Боксер, разгоряченный водкой и близостью

доступных женщин, бежал к нему, раздвигая узкое пространство тишины, свергая вешалки и круша сундуки.

Юрочка не успел побелеть лицом, как дверь распахнулась, почти соскочив с петель. Скрыться, исчезнуть, стать невидимым... Смердное дыхание врага свирепствовало вокруг.

Юра вскочил на подоконник, зажмурился, раскинул беспомощные руки и упал.

Когда он раскрыл глаза, оказалось, что летит высоко над летним городом. Легкий дымный страх наполнил все поры его измученного тела и поднимал его вверх, к звездам.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Глеб Васильев
Галина Никитина

Подаренный нам Коктебель

Мария Степановна, Мария Николаевна, Мария Ивановна – вразуми, Господи, во всех разобраться!

Мы идем, предводительствуемые Анастасией Ивановной Цветаевой, к легендарному дому, который теперь стоит в совсем неподходящем для него окружении парка, мостков, коттеджей и, забранный в безвкусный парапет, набережной. Стрелка указывает на незаметную дверь первого этажа – здесь музей картин Волошина. По деревянной лестнице с надписью «Входа нет», мы поднимаемся на второй этаж – «нет» – это для посторонних. Уже с порога слышатся восклицания:

– Манечка!¹

– Асенька!

И, через минуту, мы представлены существу, поразившему нас своим странным видом. Голова с седыми, по-мужски остриженными волосами; лицо, испаханное уже не морщинами, а глубокими, как осиновая кора, трещинами²; и невидимые гла-

¹ Волошина Мария Степановна (урожд. Заболоцкая, 1887–1976), медсестра. Вдова поэта М. А. Волошина (1877–1932), жена в его втором браке.

² «<...> вглядываясь в черты ее выдубленного временем лица, я думал: а ведь есть нечто глубоко символическое в том, что хранительницей наследия Волошина оказалась не какая-нибудь хлипкая эстетка декадентского толка, а эта крепко сбита женщина... <...>». Н. Рыленков «Коктебельская элегия». Ж. «Звезда», 1976, 6.

за за толстыми стеклами очков. Из больного горла выходил хриплый, скрипучий и почти беззвучный голос «Месс-Менд»³ с неестественными протяжными интонациями. Это первое, не скроем, тяжелое впечатление от Марии Степановны Волошиной, восьмидесятидевятилетней вдовы поэта, художника и философа Максимилиана Александровича Волошина.

Позже, однако, мы поняли, что она великолепно сохранила и ум, и память, хотя годы отняли у нее привлекательность и голос, который любила слушать «сама» Обухова⁴, но об этом потом. А теперь, неукротимая Анастасия Ивановна, не дав себе ни минуты отдыха, стремительно, крупными мужскими шагами сбегает по лестнице и, не слушая резонов, идет ... устраивать нас на квартиру – чтобы самой представить нас, Марии ... на этот раз Николаевне Изергиной⁵.

Путь оказался в каких-нибудь пятьсот-шестьсот метров, но, ведь, для кого? Нет, положительно Анастасия Ивановна в свои восемьдесят два года обладает необоримой крепостью духа и тела.

³ «Месс-Менд» – фантастическая детективная трилогия романа Мариэтты Шагинян: «Месс-Менд или янки в Петрограде» (1923); «Лори Ленд, металлист» (1924) и «Международный вагон» (1925). Отрицательный персонаж романов имел металлический резонатор в голосовых связках, придававший его речи своеобразный оттенок. Романы пользовались огромной популярностью и первый из них был экранизирован.

⁴ Обухова Надежда Андреевна (1886–1961), певица. Позже, Мария Степановна напишет о встрече с ней впервые в 1949 году (М. С. Волошина. О Максе, о Коктебеле, о себе. – Феодосия-Москва. Издат. Дом «Коктебель», 2003. С. 207). «Уж много дней и ночей, как пьяная, как влюбленная, <...>. Но такое состояние, что все, все изныло внутри, – и сладко, и грустно, и умиленно, и плакать хочется, и умереть, и жалко всего. И все это – от пения и ежедневных встреч с Надеждой Андреевной. Что она делает! Душа рвется, бьется, тоскует, как будто бы все понимает <...>. И как маньяк отравлена ею. Она мне тихо вполголоса пела три вечера – и я раздавлена, обожаю ее».

⁵ Изергина Мария Николаевна (1904–1998), пианистка, певица. В 1956 г. она построила дом в Коктебеле, который стал «Меккой» для интеллигенции и всех творческих людей из Москвы, Ленинграда, Киева и др. городов, практически до последних лет ее жизни. В 1997 г. она покинула Коктебель, будучи тяжело больна, и больше уже в него не вернулась.

Типично крымский дом Изергиной с тенистой большой верандой, заплетенной виноградом, стоял в саду, окруженный многочисленными пристройками для гостей, приезжающих на лето. Здесь сразу же чувствовалась атмосфера общечеловеческой простоты тех богомных коммун, какие складывались сами собой в двадцатые годы среди литераторов и артистов.

Изергина встретила нас в перепачканном землей тренировочном костюме с ведром в руке и лопатой. Крупная, подвижная фигура, короткие волосы и уверенная громкая речь никак не позволяли угадать настоящий возраст хозяйки.

На стенах, предоставленной нам комнаты, висели: гипсовый отпечаток какой-то египетской древности, три небольших акварели, две из которых Макс подарил хозяйке пятьдесят с лишним лет назад, старинный портрет юной красавицы в овальном медальоне; а за портьерой в нише ... тьма-тьмущая старых и новых книг на русском, французском и английских языках. Портрет красавицы, как сказала хозяйка, был портретом ее бабушки-полячки.

Тёмный, прямой и взыскательный взгляд.

Взгляд, к обороне готовый.

Юные женщины так не глядят.

Юная бабушка, кто вы?

Сколько возможностей вы унесли,

И невозможностей – сколько? –

В ненасытимую прорву земли,

Двадцатилетняя поляка!⁶

Короткая беседа, короткие хлопоты и вот уже Анастасия Ивановна, помиловавшись с котом Киссинжером и параличным псом Фифой, прощается с хозяйкой, и мы провожаем ее обратно к дому Волошина.

⁶ Марина Цветаева. Стихотворение «Бабушке» из сборника «Волшебный фонарь». 4 сент. 1914.

В Коктебеле мы сразу заметили культ всякой живности, сохранившийся, наверное, еще со времен Макса, когда у него в доме, на веранде и вокруг жило множество всяческих псов... Вот и сейчас Анастасия Ивановна поминутно прерывает разговор и «раскланивается» со встречными дворнягами или на ходу подхватывает, ничем не примечательного, на наш взгляд, кота.

Снова поднявшись по лестнице, мы застаем Марию Степановну на галерее. Она сидит в тени в старом соломенном кресле, стриженная голова закрыта белой фетровой шляпой. Большие поля свисают, закрывая глаза, и поэтому, чтобы видеть, она просит нас встать против солнца, и отбрасывает поля шляпы, закидывая голову все тем же конвульсивным движением. Нет, наверное, ее глаза все же видят стоящего перед ней человека.

Она говорит, что сегодня в шесть часов вечера у нее будут читать новые воспоминания о Максе и любезно приглашает нас к себе. Мы от души благодарим, откланиваемся и оставляем подруг наедине...

Другой, не менее фанатичный культ коктебельцев, относится к царству минералов. Известно, что сам Ферсман⁷ получал здесь свою геологическую закалку, и Мариэтта Шагинян⁸ износила не одну пару кожаных наколенников, лазая по прибрежной гальке. От Анастасии Ивановны мы уже знали об одних, знаменитых в Коктебеле, собирателях, которых она называла «каменные старушки». Оказывается, сегодня у них состоится показ коллекций для всех желающих, и мы спешим в дом, где обитают три сестры – три удивительные «каменные старушки».

Одна старушка из веток, деревцев и плавника выделывает фантастические фигурки; другая – занимается коллекциони-

⁷ Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), геохимик и минералог. Акад. АН СССР (1919), организатор многих экспедиций по изучению минеральных ресурсов. Сталинская премия в 1942 г.

⁸ Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писательница. О ней А. И. Цветаева написала в своих мемуарных воспоминаниях – «Неисчерпаемое». – М.: Отечество, 1992, с. 78; ж. «Даугава», 1984, 9, с. 123.

рованием камней, раковин, кораллов и прочих природных раритетов, а третья – просто любит природу, бегают по горам и ведет хозяйство.

Пройдя небольшим садом между аккуратных кустов и старых деревьев, где таились искусно сделанные зайцы, горделивый петух, осел, еж и другие диковинные твари, мы увидели стол, за которым, уже собралось человек двенадцать с хозяйкой во главе.

Хозяйка по одному брала образцы из стоящего посередине большого ящика и рассказывала о географии и истории полированных и натуральных агатов, яшм, опалов и сердоликов, найденных ею самой, или подаренных любителями. Иные из них имели весьма экзотическое африканское или бразильское происхождение, но большинство было принесено морем к здешнему подножью Кара-Дага...

О камнях в Коктебеле ходили рассказы прямо-таки легендарного характера⁹. Особенно запомнился рассказ об одном из «первооткрывателей Коктебеля», известном ученом-окулисте Эдуарде Андреевиче Юнге¹⁰. Говорили, что этот человек, обладавший острым взглядом и хорошим вкусом, собрал замечательную коллекцию, в которой были камни неопишуемой красоты. Знатоки, писатели и художники утверждали, что коллекция не имеет цены. Наивный хозяин принял их восторженные слова за чистую монету и решил, что может разбогатеть, продав свои сокровища самому самодержавцу всероссийскому, императору Николаю Второму. С этой целью он отправился в Ливадию, где была царская дача. Каким-то образом через придворных ему удалось показать свою коллекцию царю. Тот заинтересовался и спросил – сколько владелец хочет за нее?

– Миллион, – ответили ему.

– Скажите этому чудаку, что он сошел с ума, – засмеялся царь.

⁹ Н. Рыленков. Коктебельская элегия. Ж. «Звезда», 1976, 6.

¹⁰ Юнг Эдуард Андреевич (1833–1898), профессор-окулист, коктебельский землевладелец – основатель поселка Коктебель.

Придворные в точности передали царские слова владельцу коллекции, и тот был до того потрясен гибелью своей, казалось бы, уже совсем близкой к осуществлению мечты, что и в самом деле сошел с ума.

Умер этот несчастный человек уже после революции и перед смертью, чтобы никто не смог воспользоваться его коллекцией, выбросил ее в большом кожаном мешке в глубину моря...

С тех пор, если кто-нибудь находил по-настоящему хороший камень, говорили: «Это из большого кожаного мешка», — что считается у «каменщиков» высшей похвалой.

В другом ящике, пришедшему на смену первому, была коллекция раковин тропических морей, кораллов, жемчужин розового и редкого черного цветов, которые Зинаида Леонидовна, так звали эту старушку, эффектно высыпала из пробирки на перламутровую мантию крупной жемчужницы.

В этот момент появилась Анастасия Ивановна, сопровождаемая каким-то художником, и тотчас с неподдельным интересом начала рассматривать образцы, искренне восхищаясь их красотой, игрой красок и разнообразием.

Для почетного гостя показ коллекции повторился, а в заключение было принесено самое любопытное — альбом редких фотографий Макса и близких к нему людей, которые уже много лет с любовью и терпением собирает хозяйка.

Здесь были редкие снимки Аси и Марины Цветаевых, фото, где они обе с Андрюшей — сыном Анастасии Ивановны, Алей, Сергеем Яковлевичем — дочерью и мужем Марины; и вторым мужем Анастасии Ивановны Маврикием Александровичем Минцем.

— В семнадцатом году, — рассказывает Анастасия Ивановна, — я с обоими детьми и нянькой должна была по настоянию мужа выехать из Москвы в Коктебель. Но в это время у него началось острое заболевание, я отказалась его покинуть. И только когда они ехали в пролетке, муж, преодолел

вая боль, встал и сказал: «Если Вы отказываетесь уезжать, я сейчас выпрыгну». Я схватила его, понимая, что это было бы смертельно, и, удерживая от прыжка, дала вынужденное согласие на отъезд.

Мне обещали дать телеграмму в Харьков о его состоянии. Но там телеграммы не оказалось, что было вполне возможно, учитывая то трудное время; и я доехала до Коктебеля.

Там я получила телеграмму от родственников мужа, что болезнь протекает нормально; но почти следом пришла телеграмма от Марины, в которой она сообщала, что у него гнойный аппендицит и положение серьезное: “срочно выезжай”!».

Анастасия Ивановна оставила детей в Феодосии в одной близкой семье¹¹ и сразу уехала в Москву. Дорога заняла девять дней и когда она приехала, ее на вокзале встретила Марина. Она сказала, что Минца похоронили на старом Еврейском кладбище на Смоленской. Теперь этого кладбища нет...

В мае пятнадцатого года Мариной было написано стихотворение, посвященное будущему мужу Анастасии Ивановны Маврикию Александровичу Минцу, которого она любила и уважала.

*Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжёлый шар земной
Не уплывёт под нашими ногами.*

.....

*Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня – не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,*

¹¹ В семье художника и друга Хрустачева Николая Ивановича (1883–1960).

*За наше не-гулянье под луной,
За солнце не у нас над головами, –
За то, что Вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не Вами¹².*

В альбоме была фотография маленького ребенка – «снимок маленького Макса», – как сказала Зинаида Леонидовна. Анастасия Ивановна с любопытством откликнулась:

– Покажите, покажите, я никогда не видела фотографии маленького Макса.

Увидев же фотографию, она воскликнула:

– Это не Макс! Это же Аля, дочь Марины.

Тут она вспомнила, что Аля была ровесницей Андрюши. И как позже, когда Аля умерла, он не успел на ее похороны в Тарусе; похоронила ее Ада Александровна¹³...

Увидев фотографию Марины и Сережи, Анастасия Ивановна назвала ее роковой.

– Сережа, – сказала она, – глядит каким-то отрешенным трагическим взглядом, а Марина настороженно смотрит в сторону. У меня была такая же, но только Сережа стоял с левой стороны. Другая же фотография, которая снята в Чехии, была кем-то разорвана пополам, а затем ее соединили, заретушировали разрыв и пересняли. В этом Анастасия Ивановна тоже видела печальное предзнаменование.

Зинаида Леонидовна показала ей фотографию интерьера Марининой комнаты, которую ей прислал один знакомый, знавший Цветаевых.

– Это не Маринина комната, а моя. А вот и я, правда видны только одни глаза, – и она стала объяснять что изображено на снимке, чьи портреты висят на стене, и что белое пятно – это раскрытые ноты.

¹² Стихотворение «Мне нравится, что Вы больны не мной, ...», 3 мая 1915 г.

¹³ Федерольф-Шкодина Ада Александровна (1901–1996), преподаватель англ. языка. 1938 г. – арест и 8 лет лагерей; 1948 – ссылка в Туруханск, где она близко сошлась с Ариадной Эфрон.

Есть в альбоме и портрет Осипа Эмильевича Мандельштама¹⁴. Недавно, на даче у Чуковского, куда мы ездили навестить нашего друга Клару Израилевну Лозовскую¹⁵, видели такой же. На снимке Осип Эмильевич снят вместе с Корнеем Ивановичем и Бенедиктом Лифшицем¹⁶ перед отправкой последнего на фронт. Две фотографии Маргариты Сабашниковой¹⁷, первой жены Волошина, фотографии Бориса Пастернака¹⁸, Андрея Белого¹⁹, Анны Ахматовой²⁰ и ее же с Гумилевым и сыном.

Увидев снимок Ахматовой в последние годы ее жизни, Анастасия Ивановна сказала, что такой полной она никогда не видела ее живой, а только в море.

¹⁴ Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт, эссеист, переводчик. Отношение Анастасии Ивановны к Мандельштаму было исполнено глубокого пиетета, как к поэту; как человек – он в их коктейбельские встречи в молодые годы вызывал «материнскую» заботу. О своем отношении к нему, как к человеку и поэту см. эссе Анастасии Ивановны: «Осип Мандельштам и его брат Александр» в ж. «Даугава», 1980, 7, с. 67–72.

¹⁵ Лозовская Клара Израилевна (р. 1924), закончила режиссерское отд. ВГИКа, работала по договору с Мосфильмом, а с 1953 г. – в Переделкине, секретарем в доме Чуковского (наст. имя Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969). И проработала в нем, как она пишет в своих воспоминаниях в 1973 г. «долгие, но так быстро промелькнувшие 17 лет». Работала она и над упорядочением архива К. И. Чуковского и после его смерти. Она, вместе его дочерью Лидией Корнеевной Чуковской (1907–1996) и его внучкой Еленой Цезаревной (р. 1931) сохраняла и поддерживала живые традиции и культурную жизнь дома. В настоящее время она с дочерью живет в Бостоне.

¹⁶ Лифшиц Бенедикт Константинович (1886–1938, расстрелян), поэт, переводчик.

¹⁷ Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973), художница, меуарист. Первая жена Макса Волошина.

¹⁸ Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт.

¹⁹ Белый Андрей (наст. имя Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934), поэт, прозаик, теоретик символизма.

²⁰ На фотографии: Анна Андреевна Ахматова (урожд. Горенко, 1889–1966, поэт); муж А. А. Ахматовой – Гумилев Николай Степанович (1886–1921, расстрелян, поэт) и их сын – Гумилев Лев Николаевич (1912–1992, историк и географ). Фотография 1916 г., Царское село.

– В тот момент, – добавила она, – представитель Литфонда, обратившись к народу, сказал непривычные в те годы, слова: «Тело Анны Андреевны отправляется в Ленинград, панихида состоится в церкви».

Затем мы проводили Анастасию Ивановну домой – отдохнуть полчаса перед чтением воспоминаний о Максе, написанных скульптором Ариадной Александровной Арендт²¹, знавшей его с двадцатых годов и всю жизнь...

...Доходит шестой час и мы в третий раз в этот необыкновенный день поднимаемся по лестнице старого дома и входим в гостиную. Предоставленные на какое-то время сами себе, стали с любопытством осматриваться. Все для нас здесь было интересно и мы никогда не думали, что можем оказаться здесь, в этом легендарном доме, за этим необычным столом и как бы прикоснуться к тому, удаленному для нас, «прошлому» и месту, и времени...

Гостиная или столовая – большая, несколько удлиненная комната с большим четырехугольным абажуром посередине над длинным столом. Над дверью, противоположной входу в гостиную с галереи, висит большой портрет Макса, написанный масляными красками; тут же стоит небольшой стол, служащий для подсобных целей.

Абажур, как нам потом рассказала Анастасия Ивановна, сделал давно один знакомый художник для Марии Степановны. Он оригинален по форме и состоит из четырех прямоугольников. Посередине каждого из них квадрат с нарисованными по центру гербами – их четыре. Один из них имеет две буквы «М» – одну над другой, причем нижняя – перевернута, так что получается «W» – и все вместе обозначает: Макс Волошин. По сторонам квадраты соединены между собой тканью и деревянными планками. Все вместе это выглядит необычно и соответствует духу дома.

²¹ Арендт Ариадна Александровна (1906–1997), художник, скульптор малых форм.

Но самое интересное, что привлекает внимание – это стены, завешенные акварелями, портретами, рисунками...

Наконец, появилась и сама виновница собрания. Ее сопровождал муж – седой, небольшого роста господин – художник и скульптор Анатолий Иванович Григорьев²². Не ожидая увидеть столько слушателей, она смутилась и предложила перейти в комнату хозяйки, где в интимной обстановке будет чувствовать себя свободнее: «В столовой не так уютно».

Все перешли в соседнюю комнату, где заняв обширное кресло, она взяла рукопись и начала читать спокойным низким голосом с отчетливой дикцией. Ее воспоминания «В стране голубых холмов»²³, как она сказала, посвящаются «Марии Степановне – человеку, который героически сохраняет для нас Волошина»²⁴.

Здесь мы воспроизводим воспоминания так, как они были записаны нами в тот удивительный день в Коктебеле.

Первая встреча с Волошиным. Ариадна, тринадцатилетняя, живет в доме своей тетки. Пришел Макс, огромный, курчавый, с большой шевелюрой и бородой и сразу же покорила ее воображение. И не только ее, но и собаки Жука, который весь вечер не сводил с гостя внимательных глаз и сидел рядом с ним на стуле. «Все житейские вопросы он умел разяснять с более общей, как мы тогда говорили, точки зрения...» – пишет автор о Максе.

²² Григорьев Анатолий Иванович (1903–1986), скульптор.

²³ Позже Ариадна Александровна в Москве дала нам свою рукопись «В стране голубых холмов», которую мы перепечатали в двух экземплярах и переплели. Один из экземпляров мы передали ей вместе с рукописью, а другой – она подарила нам, надписав: «Дорогим друзьям Гале и Глебу от автора. А. Арндт. 14.III.80 г.».

²⁴ В подаренном нам экземпляре посвящение Марии Степановне звучит так: «Дорогой Марии Степановне Волошиной, которая подвигом своей жизни и личными качествами своей необыкновенно одаренной натуры вот уже четверть века охраняет жемчужины красоты и духовной культуры, созданные Максимилианом Александровичем Волошиным».

С глубокой признательностью и любовью за все то, что Вы делаете для нас – А. А. 11 августа 1957г.»

Вскоре был арестован близкий семье человек, и все были в страшном волнении. Тогда Макс, уловив суть дела, успокоил, уверив, что это происшествие – недоразумение, и скоро этот человек вернется. Действительно, он вскоре возвратился и рассказывал, что из подвала, где его держали, он увидел Макса с рюкзаком за плечами, понял, куда он пошел и зачем. И сразу проснулась надежда.

В то тяжелое время Макс часто ходил хлопотать о людях, независимо от их партийной принадлежности. При этом, он, разговаривая с человеком, наделенным властью, молился его ангелу-хранителю и просил уберечь этого человека от впадения во зло. Так ему часто удавалось спасти людей. Он говорил, что зло порождает другое зло и так катится колесо зла по дорогам истории, рождая кровавый посев: бороться против зла можно только добром.

Приглашая к себе, Волошин всегда предлагал гостю выбрать понравившуюся тому акварель, дарил ее, утверждая, что отдавая, мы становимся только богаче.

Обаяние и сила слов его были удивительны. Был период, когда он читал открытые лекции на всевозможные отвлеченные темы, среди которых была и, запомнившаяся автору, лекция о голоде. Его слова были глубоко продуманы и производили сильное впечатление. Выступивший после лекции мужчина заявил, что теперь ему не нужны никакие партии, «Ведите меня! Я готов всюду за вами следовать!» – воскликнул он в воодушевлении.

Другой, прочтя поэму Волошина о мироздании, где просто и ясно изложены основы астрономии, предложил Максу переложить «Капитал» Маркса в стихи, чтобы он был понятнее.

Однажды Ариадна Александровна привела к нему скульптора Иткинда²⁵. Увидев в контуре скал профиль Макса, он

²⁵ Иткинд – скульптор, преподаватель Симферопольского художественного техникума (А. Арентд. «В стране голубых холмов», рукопись, 1957)

попросил его стать также в профиль и, внимательно посмотрев, сказал: «Да, да, это Вы. Но есть некоторый непорядок. Я его исправлю.

– Как же вы собираетесь это сделать? – спросил изумленный Макс.

– Очень просто, – ответил тот, – возьму стамеску и все будет в порядке».

После Волошин долго смеялся и все спрашивал Ариадну: «Откуда взялся этот архаичный еврей?»

В этом доме всегда было много народа и как-то за столом собралась публика, среди которой была и молодежь. Одна молоденькая художница стала отрицать культурную историю России, говоря о заимствовании в пренебрежительном тоне. Тогда из-за стола поднялся бледный, с трясущимися губами Брюсов и стал горячо говорить в защиту русской культуры. Разгорелся яростный спор. Макс старался успокоить страсти, но все шумели и выскочили из-за стола. Бедный Брюсов так расстроился, что кажется, не оправился до самой смерти.

В одной газете была даже заметка, будто бы причиной его смерти была эта, так взволновавшая его, история. Хотя на самом деле он скончался от сильной простуды, полученной при походе на Кара-Даг, когда все, несмотря на предупреждения, пошли в горы, и там разразилась сильнейшая гроза.

Когда Ариадна была еще девочкой, она услышала, как Макс произнес слово «теософия». Она спросила у тети, что означает это слово и не получила удовлетворительного ответа. Хотела поговорить об этом с ним самим и, готовясь, пыталась прочесть книги, которые были у него в библиотеке, но они показались слишком сложными.

Однажды Волошин пригласил ее присутствовать при его беседе о теософии с одной приезжей дамой. Возможно, он тогда сознательно старался говорить проще, так, чтобы она могла уловить основы этого учения.

Но прямо с Максом она о теософии никогда не говорила, так как он почти никогда не бывал один, а она не знала, что адепты теософии сами не начинают разговоры на эту тему, а

лишь отвечают на вопросы других. И хотя она этого не знала, но при разговорах «мы с Максом всегда обменивались многозначительными понимающими взглядами».

В воспоминаниях много говорится об Андерсе²⁶, художнике, который написал портрет Макса в двадцать седьмом году. Андерс также жил в Коктебеле и был дружен с Арендт в годы ее молодости. В последние годы жизни он разошелся с Волошиным. Точной причины этого разрыва автор воспоминаний не знает. Были толкования о разнице в отношении к женщине...

Говорят, Андерс был сердцеедом и настойчиво ухаживал за женой Михаила Светлова²⁷. Видя это, Макс спросил – серьезно ли это, или просто так? Тот ответил: «просто так». Волошин был человеком высоких моральных правил и страшно рассердился, после чего началось заметное охлаждение их дружбы, закончившейся разрывом.

В один из дней нашего пребывания в Коктебеле мы вместе с Анастасией Ивановной пошли в музей Волошина, на выставку его живописных работ. Особенно запомнился написанный углем портрет Сергея Эфрона²⁸ – страдальчески асимметричное лицо с неправдоподобно огромными глазами смотрело на нас в упор из темного угла маленького зала. Когда Анастасия Ивановна подошла к нему, то, внимательно посмотрев, спросила сопровождающего нас Бориса²⁹:

– А это кто?

– Сергей Яковлевич Эфрон, – ответил Борис, и мы подумали, что она не узнала лицо на портрете из-за слабого освещения на выставке.

²⁶ Андерс Виктор Платонович (наст. фам. Васильев. 1885–1940), художник; в юности анархист, политкаторжанин.

²⁷ Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964), писатель, поэт.

²⁸ Эфрон Сергей Яковлевич (1863–1941, расстрелян), литератор, общественный деятель. Реабилитирован посмертно в 1956 г.

²⁹ Гаврилов Борис Антонович (р. 1953), поэт, экскурсовод. Друг и помощник Марии Степановны Волошиной в последние годы ее жизни. Закончил заочное отделение Минского университета. Живет и работает в США.

– А-а-а, – протянула Анастасия Ивановна и, посмотрев еще раз на портрет, сказала:

– Он совсем не похож, он был не такой.

Когда, выйдя, мы поделились с ней своим впечатлением, она снова подтвердила:

– Нет, – сказала она, – Сережа здесь совсем не похож. А вот портрет Майи Кудашевой³⁰ – нарисован великолепно. Он так удачно нашел ее улыбку, немного мрачную и отчужденную. Совсем недавно она написала мне, что хочет приехать в пустой и безлюдный Коктебель, чтобы увидеть его таким, как в годы своей юности. Ответила ей, что сезон начинается лишь с апреля и заканчивается в декабре и что приезжать сюда в другое время – нельзя, потому что Дом творчества не работает и питаться негде.

В ответ получила совсем странное письмо, где она пишет, что хочет приехать в феврале, так как помнит, что в феврале Макс приносил ей фиалки. Я написала, что климат теперь совершенно не тот, что был в годы нашей юности, и в феврале фиалок нет, а только дуют ветра...

Но она сообщила, что любит ветры и поэтому приедет в январе.

– Совсем странная какая-то, – добавила Анастасия Ивановна задумчиво и несколько удивленно.

– По приезде в Москву я напишу ей, что если она хочет ехать со мной в Коктебель и побродить по тропинкам нашей юности, то пусть приезжает все-таки в апреле.

На наш вопрос:

– Кто такая Майя? Анастасия Ивановна ответила, что это – Мария Павловна Кудашева, вдова Ромен Роллана и подруга ее и Марининой юности.

³⁰ Кювилье Мария Павловна (1895–1985), поэт. Незаконная дочь русского офицера. В первом браке за кн. Сергеем Александровичем Кудашевым (сконч. 1919). Во втором (1934) – за французским писателем Ромен Ролланом (1866–1944). Майя Кювилье – друг Анастасии Ивановны с января 1913 г. Их переписка продолжалась вплоть до последних дней жизни М. П. Роллан.

– Ей, как и мне, сейчас восемьдесят два года. – А вам известна история ее жизни? Нет? – удивленно произнесла она. – Так я вам сейчас расскажу.

...В доме хорошо известного владельца одного из московских театров – Незлобина, жила в гувернантках француженка. Женщина ничем не примечательная, с ограниченным кругом интересов, однако – волевая. Однажды она познакомилась с бывшем в доме русском человеком, и они полюбили друг друга. До свадьбы дело не дошло, так как он вскоре куда-то исчез с горизонта. Куда, я не знаю. А у нее родилась девочка, Майя.

Гувернантку любили у Незлобиных и она, чтобы не потерять место, отправила дочь в Швейцарию к своим дальним родственникам.

– Поэтому, – замечает Анастасия Ивановна, – есть что-то общее в нашем воспитании, ведь мы тоже с Мариной бывали в швейцарских пансионах.

Когда Майе исполнилось семь лет, мать приехала за ней, но встреча матери с дочерью была трагичной. Не такой ожидала увидеть свою мать Майя, да и сама она оказалась для матери неожиданностью, потому что ее облик никак не вязался с идеалом добропорядочной французской провинциалки – она была сорванцом и больше напоминала мальчишку. Вероятно, это у нее от русского отца, – заключила Анастасия Ивановна.

Мы познакомились с Майей, когда мне было семнадцать, а Марине девятнадцать лет. Тогда Майя уже писала романтические французские стихи.

Вскоре она вышла замуж за князя Сергея Кудашева³¹, приятеля Сережи Эфрона и моего первого мужа Бориса Трухачева³². У нее родился сын, которого называли тоже Сергеем³³.

³¹ Кудашев Сергей Александрович (1896–1919), князь, юнкер (1916), подпоручик Белой армии. Свадьба с Майей Кудашевой состоялась в Москве в 1916 г. Скончался летом 1919 г. от сыпного тифа в Туапсе.

³² Трухачев Борис Сергеевич (1892–1919), первый муж Анастасии Ивановны Цветаевой. Умер в Старом Крыму от брюшного тифа.

³³ Кудашев Сергей Сергеевич (погиб в бою в октябре 1941 г.), аспирант мехмата МГУ.

Наступила революция. Князь Кудашев погиб в рядах Белой армии, а Майя с маленьким ребенком оказалась в Феодосии, а затем в Коктебеле. В страшные годы безвластия она стала подругой знаменитого в тех краях батки Ивана, который был там чем-то вроде Махно, нагонял страх на местных жителей, преследовал и грабил людей известных и состоятельных.

Может быть, это был роман платонический, а, может быть, и нет, но так или иначе, он слушался Майю во многом и иногда ей удавалось спасать людей от жестокой расправы.

С приходом Красной армии, батку Ивана схватили и расстреляли, кажется, в Джанкое. Вслед затем арестовали и Майю. Ее обвиняли по двум направлениям: как княгиню и как подругу бандита.

Некоторое время она находилась в тюрьме, и я носила ей передачу. В то время люди были смелее и не боялись оказывать помощь друг другу. Вскоре она вышла на свободу и уехала в Москву.

Майя была влюбчива и поочередно увлекалась знаменитыми людьми. Так, она была влюблена в Бальмонта³⁴, Шервинского³⁵, архитектора Веснина³⁶, того, который строил «Детский мир». Она влюблялась с чисто французским темпераментом и в это время ни о чем другом не могла говорить, кроме как о предмете своей страсти, но чувства быстро проходили.

В Москве она работала переводчицей во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей и продолжала писать стихи на французском языке. Два сборника были изданы во

³⁴ Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт, переводчик. С 1920 – в эмиграции. Анастасия Ивановна была дружна с его дочерью Ниной Константиновной Бальмонт-Бруни (1904–1980).

³⁵ Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991), поэт, переводчик, литературовед, теоретик стиха и художественного слова.

³⁶ Веснин Виктор Александрович (1882–1950), акад. АН СССР (1943). Далее ошибка памяти – в проектировании здания «Детского мира» на пл. Дзержинского архитекторы, братья Веснины – не участвовали. Его построил архитектор Душнин Алексей Николаевич (1904–1977) в 1955 году. Впоследствии Виктор Веснин гостил на вилле Ромен Роллана в Швейцарии (Г. Медзмаришвили «Я жил, благодаря ей...». – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000. С. 13–14).

Франции, один из них она послала Ромен Роллану. Он заинтересовался им, так началась их переписка.

В двадцать девятом году она едет в Швейцарию на его виллу. Через год вновь получает приглашение, но кантональные власти отказали в визе гостю с советским паспортом.

Тогда Ромен Роллан заявил, что он продаст свой дом и, если его гостю будет отказано в визе, покинет Швейцарию навсегда. В то время мы шутили и говорили Майе, что из-за нее могут возникнуть международные осложнения. Но власти быстро опомнились, разрешение было выдано, и она вновь встретилась с Ромен Ролланом.

Из своей третьей поездки в тридцать девятом году она уже не вернулась и стала именоваться мадам Роллан. Ее сын Сергей погиб в сорок первом году в рядах Красной армии.

– Анастасия Ивановна, верны ли слухи, что Ромен Роллан передал свой архив Советскому Союзу с запретом публикации на пятьдесят лет³⁷?

– Я ничего об этом не слышала, но сомневаюсь. Майя была секретарем писателя в течение сорока лет, и все еще продолжает работать над его рукописями...

В кабинете Макса хранится удивительная реликвия – толстая тетрадь, в которой записывал взятые книги каждый, кто пользовался библиотекой щедрого хозяина. Тетрадь пестрит именами крупнейших русских писателей, художников и ученых – Брюсов и Белый, Толстой и Лебедев³⁸, Вересаев³⁹

³⁷ Значительно позже, когда Анастасия Ивановна жила уже не в коммунальной, а отдельной квартире на Большой Спасской, ей пришло письмо от Майи, написанное в декабре 1984 г., где она, в частности, пишет: «<...> Я приказала себе прожить еще два года, потому что я передаю библиотеку и архив Романа Роллана в национальную библиотеку; это очень сложно и ничего мне не дает, кроме всякого рода административных хлопот. <...>».

³⁸ Лебедев Сергей Васильевич (1874–1934), химик, акад. АН СССР, создатель промышленного получения синтетического каучука. Муж художницы Остроумовой-Лебедевой Анны Петровны (1871–1955).

³⁹ Вересаев Викентий Викентьевич (наст. фам. Смидович. 1867–1945), писатель, переводчик Гомера, литературовед-пушкинист, Сталинская прем. 1943 г.

и Цветаевы и многие, многие другие брали здесь книги на всех языках и этим оставили нам живое свидетельство своих интересов. Имеется в ней и роспись Майи, стоящая против нескольких, неразборчиво написанных французских заглавий.

Есть и подпись Марины, она брала «Серебряный голубь» Белого⁴⁰, и Аси, примерно в то же время бравшей эту же книгу.

– Нынче будет петь Мария Николаевна! – как большой сюрприз сообщила нам Анастасия Ивановна, – просили ее придти часиков в восемь.

Перед собравшемся обществом явилась дама в янтарном ожерелье, в вечернем нарядном платье и с пуховой шалью на плечах. Она расцеловалась с хозяйкой и обменялась с прочими гостями незначущими светскими фразами.

И глазу, и слуху, и воображению она запомнилась именно, как светская, ну, может быть, на девять десятых, но уж не как не полусветская дама, и достоинства ее можно исчислять единственно в процентах этой, смутно понимаемой, категории.

Полчаса занял обряд беседы. Затем Марию Николаевну попросили исполнить что-нибудь, что сама пожелает. Не требуя уговоров, она села за большой рояль и, взяв несколько аккордов, уверенно и привычно запела.

Сильным, хотя и не звучным голосом, она спела три романса – не старые русские, но и не модерн, а потом, распевшись, вспомнила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» и другие. Анастасия Ивановна попросила «Пилигримов»⁴¹ и «Звезду» Анненского⁴².

⁴⁰ «Серебряный голубь» – роман Андрея Белого впервые вышел отдельной книгой в 1910 г. в издательстве «Скорпион».

⁴¹ «Пилигримы» – на слова поэта Иосифа Бродского (1940–1996), композитор Клячкин. Полный текст «Пилигримов» Мария Николаевна прислала нам позже, когда мы уже вошли в круг ее друзей.

⁴² Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт, переводчик Эврипида, греческого трагика (V век до н. э.). Директор Царскосельской гимназии.

Спела она и романс, посвященный Марии Степановне поэтом Акимом⁴³ – «Вальс при свечах». Стихотворение «родилось», как сказала Мария Николаевна, в день рождения Марии Степановны, хозяйки Дома Поэта и, положенное ею на музыку, стало известно, как «Коктебельский вальс» – гимн Дома Поэта.

*Прибой то ревёт, то молчит, опадая,
И целую ночь напролёт,
Нам голосом юным, хозяйка седая,
Старинные песни поёт.*

*И, словно припомнив минувшие годы,
Оглянет хозяйка жильё.
И вступят осеннего ветра фаготы
В негромкую песню её.*

*Здесь жили поэты, их призраки бродят
В глубокой полночной тени.
Пуская же сегодня они верховодят,
Зови их за стол, не спугни.*

*Не стерпят они рифмача-пустозвона,
Не слышно глупца освистят,
Ни лести убогой, ни фальши казённой
Они никому не простят.*

*Здесь двери открыты наивным и смелым,
Кто честен и сердцем богат.
И кружатся, кружатся ветки омель,
Доверчивый, маленький сад.*

⁴³ Аким Яков Лазаревич (р. 1923), поэт. Текст стихотворения написан 25 октября 1956 г. Называлось оно «Вальс при свечах» и посвящено М.С.Волошиной. Позже стихотворение было положено на музыку.

*О, гордые призраки, стойте на страже
Священного пламени свеч,
А мы своим детям и внукам накажем
Заветные стены беречь.*

*Поведуем тем, кто придёт нам на смену,
Как мы, непогоде на зло,
Несли в этот дом и сухое полено,
И песни живое тепло.*

*Прибой то ревёт, то молчит, опадая,
И целую ночь напролёт,
Нам голосом милым, хозяйка седая,
Старинные песни поёт.*

Чувство меры не подвело, концерт был окончен во время. Комплементы хозяйке и Марии Николаевне, несколько слов о том «как было прежде» и надежда на то «как будет», и вот уже гости угощаются яблоками. У каждого тарелочка, десертный ножик и можно обратиться к беседе, той самой общей беседе, которой так недоставало хозяйке накануне.

– Послушайте, – прервала общий разговор одна из пожилых гостей, – Мария Степановна хочет рассказать про Обухову.

Это желание хозяйки было вызвано тем, что в романсе есть слова: «нам голосом милым, хозяйка седая, старинные песни поет». Все замолчали и прислушались.

– Я ведь раньше тоже пела романсы и не-е-плохо пе-е-ела, – начала та, видимо, хорошо тут известную историю. – Как-то летом жила у нас Обухова и часто пела вот за этим роялем, а люди слушали и собирались внизу. А потом она раскрывала двери и выходила. Она лю-ю-би-и-ла, когда ее слушают.

Однажды Обухова заболела. Я навещала и ухаживала за ней. А она любила слушать, как я пою, и просила меня при-

бегать к ней по-о-петь. И даже отправляла записки: «Машенька, прибеги попеть мне». Я раньше хо-о-орошо пела.

Барышней я была капризной и взбалмошной, – продолжала медленно и скупно выпуская слова, Мария Степановна. – Мы жили в Петербурге, у Московского вокзала, рядом с дворцом Фредерикса⁴⁴.

И вот, как-то вечером у нас были гости, все сидели за столом, и мне надо было выбросить лимон. Я встала и выбросила его прямо из окна, потому что для того, чтобы его выбросить, надо было куда-то идти, я просто встала и выбросила... прямо на тротуар.

Вдруг звонок – является какой-то господин в канотье... очень приличный. Я как увидела его, так рассмеялась и говорю: «Почему это у вас на шляпе лимон растет?»

А он в ответ:

– Это по вашей любезности, сударыня. И... ничего. Потом мы очень подружились.

Тут возникла новая тема – о великом, могучем, и о том, как его терзают – этот наш несчастный русский язык. Поминутно курившая дама помоложе, артистично и с очаровательной мягкостью рассказала пару анекдотов из жизни, где есть слова «гражданочка», «молодой человек», «являющийся», «осуществляющиеся» и прочие.

Кто-то заметил, что в таких словах чудится нечто демиургическое⁴⁵. Дама продолжила об обветшании слов и произнесла строчки Гумилева: «... и, как пчёлы в улье запустелом...», – которые мы закончили вместе: – *дурно пахнут мёртвые слова*».

И снова вместе закончили его знаменитым четверостишием:

⁴⁴ Фредерикс В. Б. (1838–1927), граф. Министр Императорского двора до 1917 г. Пользовался большим влиянием на Царскую Фамилию.

⁴⁵ Высказывание принадлежит искусствоведу Юрию Борисовичу Кликичу (р. 1946), получившего прозвище «князь» от М. Н. Изергиной.

Демиург – в философии Платона – творец, создатель всего сущего.

*Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог⁴⁶.*

Очень нам эта дама понравилась. Вот бывает же, что... «по обрывкам слов мы узнаем единоверца...».

Потом, возвращаясь домой вместе с Марией Николаевной, спросили ее: – «Кто была эта дама?».

Оказалось – Елена Александровна Благинина.

Ее имя вызвало воспоминание... Тридцать девятый год. Финская война. В морозы почти не выходили из дома и читали больше обычного. В журнале «Литературный критик» (был и такой!), пишут о молодой поэтессе Благиной. Ругают Анненского, вспоминают Сологуба⁴⁷. Потом она стала преимущественно детским писателем. И теперь, за портьерой в нише, в комнате, где мы жили у Марии Николаевны, находился один из имевшихся у хозяйки сборников, последний сборник стихов Елены Александровны – «Окно в сад», обращенный уже ко взрослому читателю и подаренный ею Изергиной...

После, по дороге на старое кокетельской кладбище, Анастасия Ивановна рассказала нам, что Благинина увлекается... куклами. Она сама делает огромных великолепных кукол и разговаривает с ними:

– Да так, что нельзя и подумать, что говорит один и тот же человек и за себя и за куклу. Большая артистка! – добавила одобрительно и с восхищением Анастасия Ивановна. А нам вспомнилось ее стихотворение, посвященное Дому Поэта.

*Опять народу здесь полно,
И сколько милых лиц,*

⁴⁶ Стихотворение Н. С. Гумилева «Слово». Стихотворение представляет собой парафраз первого стиха Евангелия от Иоанна.

⁴⁷ Сологуб Федор Кузьмич (наст. фам. Тетерников. 1863–1927), поэт, прозаик, переводчик.

*Опять зелёное вино
Мы пьём из солониц.*

*Друзей сомкнулся тесный круг,
Его не разорвать.
Чего не отдал бы ты, друг,
Чтоб встретиться опять.*

В один из дней в Дом к Марии Степановне приехала молодая, лет тридцати с небольшим, женщина, с черными волосами, свободно спадающими до плеч, с очаровательным мальчиком Сашей⁴⁸ в красных коротких штанишках и кудрявыми, до плеч, темными волосами. Мальчик держал себя очень свободно, сказал, что ему шесть лет и что он – Прохоров. Тут же согласился сфотографироваться прямо на лестнице, а потом попросил снять его с котенком.

Женщина, по имени Катя⁴⁹, оказалась дочерью Никиты Алексеевича Толстого⁵⁰, героя знаменитой повести «Детство Никиты», а Саша – ее сын, оказывался, таким образом – правнуком писателя Алексея Толстого. Как сказала нам позже Анастасия Ивановна, Катя – художница, ее муж – математик, у них трое детей, старшему⁵¹ – одиннадцать. Она приехала к Марии Степановне и намерена провести в Коктебеле в Доме Волошина всю зиму.

⁴⁸ Саша – Прохоров Александр Александрович (р. 1979), в наст. время оперный певец (бас), проходит ординатуру в США. Считает своим первым педагогом Анастасию Ивановну, которая «занималась» с ним музыкой – «она стояла у истоков моего творчества», говорит он.

Сын Александра Владимировича Прохорова (р. 1941), докт. физ.-мат. наук; познакомился с Анастасией Ивановной в 1975 г.

⁴⁹ Толстая Екатерина Никитична (р. 1939), художница, портретист.

⁵⁰ Никита Алексеевич Толстой (р. 1916), физик, проф. ЛГУ – сын писателя Алексея Толстого (1882–1945) от его третьей жены Натальи Васильевны Крандиевской (1888–1963), поэтессы.

⁵¹ Старший – Прохоров Глеб Александрович (р. 1964), окончил ф-т истории искусств МГУ, работал в Третьяковской галерее. В настоящее время психотерапевт.

Сразу же после приезда, Саша выбежал на веранду с полотенцем в руках и на наш вопрос – далеко ли он собрался, ответил: «Мочить ножки». Мы пошли к морю вместе.

Сняв сандалии и оставив полотенце под навесом, он смело пошел к морю, как к старому знакомому. Вошел по колено, и, наклонясь вперед, стал звать волну, забавно перебирая пальцами, как зовут маленьких детей. Мы сделали несколько снимков и, собравшись уходить, спросили:

– А ты купаться будешь?

– Нет, – ответил он. – Мы с мамой будем купаться завтра, а сегодня я буду только мочить ножки. И, что это будет именно так, не вызывало сомнения.

...Перед отъездом мы решили еще раз подняться к могиле Волошина.

Еще не жарко, идем кромкой морского прибоя к могиле Макса, к далекой точке на прибрежной вершине. Тишина пустынных, тускло окрашенных холмов дарит, редкое в наши дни, чувство свободы и одиночества. Из-под камней из невидимых трещин вытягиваются розовато-лиловые низкорослые цветы, похожие на весенние крокусы. Нежные и почти бестелесные, они предпочли колючую неласковую землю каменистых холмов, и среди выжженного безводья цветут прелестнее своих тепличных собратий – это колхидусы.

Поднимаясь по склону, неожиданно натываемся на проволочную «зону» с побеленной казармой, вышкой и вертушкой пограничных локаторов. Посреди дороги вбит железный столб с искореженной жестянкой: «Стоять! Проход закрыт». Жестянка грозит всякими карами самому факту бытия здесь, на чистой когда-то, полевой и прохладной земле.

Обошли далеко вокруг, как, наверное, лиса обходит запах стрихнина и железа, привычная и мерзкая доминанта повседневного чувства страха и отвращения...

Дорога протоптана в редкой посеревшей траве и круто поднимается прямо вверх к выпуклой вершине с одиноко стоящей на ней дикой оливой. Истрепанная всеми ветрами,

она отшатнулась от северного норд-оста и протянула корявые ветви к морю. Да... Крута дорога. Говорят, часа три поднимались сюда похоронные дроги.

Но вот и вершина и на ней плита из красного крымского гранита –

«МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН – 1877–1932».

Тяжелая, прямая, скупая лежит плита под всегдашним ветром и слиянность ее с камнями, горами, морем так очевидно нерасторжима, что начинаешь ощущать и свою сопричастность суровой природе.

Вокруг плиты и на ней – пестрые камни и галька, принесенные снизу от берегов бухты Сердоликовой, бухты Опаловой, Бухты-Барахты и прочих бухт, что вплелись в ожерелье здешней легенды о мудреце с обручем-повязкой на непокрытой голове и с пастушьим посохом в руке, который стал частицей этой, так любимой им, сухой и черствой земли.

Мы кладем на плиту букетик нежнейших колокольчиков, но ветер тут же сдувает их невесомые розовато-лиловые тела. Укрепляем их, прижимая к плите камешками.

Несколькими метрами ниже, в склоне, который обращен к морю, выбита каменная скамья. День за днем поднималась к могиле вдова поэта и терпеливо выбивала нишу под скамью для всех приходящих сюда людей.

Присели на скамью и мы, прогретую недолгим осенним солнцем. Здесь затишье, отсюда видны далекие мыс и бухта, а почти на горизонте – знаменитый, выбитый самой природой, профиль...

*Любимый холм – его надгробный Храм,
Несокрушимый, скудный, строгий...
Он спит, как жил: открытый всем ветрам
И видимый с другой дороги.*

Даниил Андреев⁵².

⁵² Стихи Даниила Леонидовича Андреева (1906–1959). Писатель, поэт, мыслитель. Арестован в 1947 г., приговор – 25 лет тюремного заключения. Сын писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–1919).

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Александр Зорин

Где Дух Господень – там свобода *Правда и вера в поэзии узников ГУЛАГа*

Опубликованный недавно том стихотворений «Поэзия узников ГУЛАГа» свидетельствует, что в творчестве заложена пружина сопротивления произволу, что гармония неподвластна насилию. Гармония, как присутствие и воплощение святого Духа.

Было такое изощренное издевательство в сталинских лагерях: по команде «Стой! Садись!» уронить колонну заключенных в грязь, в дорожную жижу. Не подчинившихся расстреливали тут же. Были неподчинившиеся... И бывали случаи, когда конвой оставлял их в живых, не трогал пулю.

*Спокоен, прям и очень прост,
Среди склонённых всех,
Стоял мужчина в полный рост
Над нами, глядя вверх.*

.....
*Но мне высокий и прямой
запомнился навек
над нашей согнутой толпой
стоявший человек.**

Елена Владимировна

* См. «Грани» № 200 – 2001 г. Стр. 254 – *Ред.*

Положение искусства на службе узурпаторской власти сравнимо с колонной эков, подгоняемой конвоем. Одни сгибались из безразличия, другие из чувства самосохранения, а третьи, сгибаясь, корчились и стыдились. Положение всех было унижительным. Но положение осмелившихся – смертельным.

Протест против насилия – это проявление искры Божьей в человеке, неистребимой Богоносной сущности. Уж, если там, в железной давяльне человек сопротивлялся злу, значит неистребимый огонь поддерживается в нем сверхчеловеческими силами.

Поэзия ГУЛАГа – скорбная страница в русской литературе. Скорбная и героическая. Впрочем, таковой можно считать всю русскую литературу советского периода, преодолевшую гнет каннибальской идеологии.

Известно стихотворение Мандельштама о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны». А оно было далеко не единственным. Отваживались и другие поэты говорить правду о тиране, пьющем «кровь, как цинандали на пирах». Это слова Анатолия Клещенко. Он и на суде от своих – расстрельных – стихов не отрекся:

Канал имени Сталина

*Ржавой проволокой колючей
ты опутал мою страну.
Эй, упырь! Хоть уж тех не мучай,
Кто умильно точа слюну,
Свет готов перепутать с тьмою,
Веря свято в твоё враньё...
Над Сибирью, над Колымой
Вьётся тучами вороньё.
Конвоиры сдвигают брови,
Щурят глаз, чтоб стрелять ловчей...
Ты ещё не разбух от крови?*

*Ты ещё в тишине ночей
Не балуешься люминалом
И не просишь, чтоб свет зажгли?
Спи спокойно, мы – по каналам
И по трассам легли навалом,
Рук не выпростать из земли.
О тебе вспомнят наши дети.
Мы за славой твоей стоим,
Раз каналы и трассы эти
Будут именем звать твоим.*

Оболваненные массы обожествляли вождей, бесстрашные поэты их развенчивали. А то и глумились, как Павел Васильев в своей убойной сатире: «Ныне, о, муза, воспой Джугашвили, сукина сына.»

Туземцы на островах ГУЛАГа идолу не поклонялись.

Разумеется ценность поэзии не исчерпывается жизненной позицией и поступком поэта. Но и без поступка она мало что значит. Пушкин обронивший однажды (вспоминает Гоголь): «Слова поэта – суть уже его дела», понимал слово, как действие, как совершенный поступок.

Поэзия была спасительна и сама по себе, независимо от ее духовных устремлений:

*Ведь пока есть стихи, человек до конца человек,
Для себя разорвавший любые наручные путы.*

Александр Гладков

Там, где личность нивелируется, стесывается карательной машиной, творчество удерживает ее от распада. У заключенных проявляются таланты. Можно создать уникальный музей творчества заключенных – краснодеревщиков, резчиков, скульпторов, переплетчиков книг, поэтов, иконописцев...

В колонии под Рыбинском, – это уже наше время – уверовавший, бывший уголовник, расписал иконостас в молит-

венной комнате...А выйдя на свободу и приняв постриг, стал расписывать храмы. Раньше кисть в руки не брал.

Творчество действует, как магнит в процессе собирания личности. Человек живет – пока творит. И в этом он уподоблен Творцу. Отец Александр Мень говорил, что дьявол начинается там, где кончается творчество.

Я не хочу сказать, что тюрьма благоприятна для развития личности. Но невольное страдание, как русло реки может дать развитию верное направление. Ведь выход из неволи один – в свободу, которая равновелика Истине. (*«...и познаете Истину и Истина сделает вас свободными»*. (Ин. 8:32))

Многие сочинители, не имея карандаша и бумаги, стихи складывали в уме и заучивали. Запоминались тысячи строк. Что, между прочим, влияло и на память – вспомогательный духовный инструмент. Это вынужденный и малоэффективный способ сочинительства.

Так сочинял свои стихотворения Солженицын. В художественной ценности они уступают его прозе. Заболоцкий держал в памяти на протяжении всего каторжного срока всего два сочиненных стихотворения. И только, когда записал, когда положил на бумагу, мог по достоинству оценить их.

Поэзия – пластическое искусство. В литературном творчестве участвуют все органы чувств, включая зрение, осязание. Пушкин писал стихи «оглодками» перьев (выражение Пушкина), почти касаясь пальцами бумаги. Поэт не только губами лепит звук. Он ваятель. Слово имеет видимую оболочку. Оно сообщается с предметом, опредмечивает смысл.

Татьяна Григорьевна Гнедич, потомок Николая Ивановича Гнедича, переводчика «Илиады», обладала феноменальной памятью. Она помнила наизусть всю поэму Байрона «Дон Жуан».

Оказавшись в тюрьме, в одиночной камере, стала переводить ее в уме, без карандаша. И перевела две главы. Ее следователь оказался порядочным человеком (были и такие, быстро, правда, и сами становились узниками). Узнав о ее

устном творчестве, он передал ей бумагу и карандаш, и книгу Байрона на английском языке.

При его содействии перевод ушел на волю, где его, предлагая к изданию, высоко оценил Лозинский.

Творчество выживало и под конвойным прицелом. Оно преодолевало бесчисленные заграждения, особенно на пути к Богу. «О, Господи, услышь мой плач!» (Анатолий Александров).

Отчаяние, обращенное к Творцу Вселенной, обретало силы. Страдание, наверное, неизбежно, как начальная школа для тех, кто хочет дойти «до самой сути» (Пастернак) происходящего, постигнуть смысл жизни. *«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим»* (Пс. 118:71) – говорит псалмопевец.

Обретшие веру видели, что любое их положение не безнадежно, что в окружающем кошмаре есть состояние от кошмара не зависящее:

*Он вернёт из любой разлуки,
Вознесёт из любой глубины.
Предаюсь в Его крепкие руки
И спокойные вижу сны.*

Александр Солодовников

Это на нарах-то видеть спокойные сны?! В городской квартире, куда как раз ночью и вламывались «дорогие гости»?! Да, именно там, у смерти на краю, самые независимые из бесправных обретают жизнелюбие и тайную свободу.

А вот свидетельство Варлаама Шаламова, к Божьей помощи непосредственно не обращавшегося. Но он был из числа тех, кто осмеливался не подчиниться. Божья милость анонимно вставала на сторону неподчинившихся – при любом конечном исходе. И так или иначе они чувствовали ее поддержку, хотя и не любили говорить об этом, как считает Шаламов: «ибо арестанты не любят религиозных тем». Однако, далеко не все, если судить по их творчеству.

Шаламов вспоминает: «Я знал... и карцер Черного озера, где вместо пола была ледяная вода, а вместо нар – узкая скамейка. Мой арестантский опыт был велик – я мог спать и на узкой скамейке, видел сны и не падал в ледяную воду».

Евфросиния Керсновская, оставившая нам свой бесценный опыт сопротивления насилию, тоже не любила религиозных тем. Очень осторожно, я бы сказал деликатно, объясняет она чудо своего спасения – молитвой матери.

Мы же, оценивая ее литературный и изобразительный талант, видим, что ее личность обладала колоссальным культурным потенциалом и христианским воспитанием. Культура, взращенная верой, помогла ей выжить на кругах ада.

Помощь Божия присутствует в таком опыте прикровенно, без упоминания всуе, на уровне нравственного закона. Гуманитарное сознание обходилось без Церкви, которая, к тому же, была устрашающе скомпрометирована светской властью.

Шаламов не считал себя религиозным человеком, намеренно подчеркивал это, но в намеренности скрыто особенное внимание к предмету. И он пристально констатирует: «Одна группа людей сохраняет в себе человеческий образ – религиозники: церковники и сектанты».

И далее «...более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Растление охватило души всех, и только религиозники держались».

Обратите внимание на определение без конфессиональных различий. Не православные, не католики, а – религиозники. (Протестантов в ту пору относили к сектантам).

Единство Святого Духа объединяло всех.

Шаламов пишет о Мандельштаме, умирающем на нарах: «Стихи были той животворящей силой, которой он жил». И в другом рассказе, уже о себе: «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное – то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали».

Если у Замятина (*священника* – А. З.) этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи – чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями».

Никто не знает, как умирал Мандельштам. Шаламов описал его смерть, исходя из своих ощущений. Поэзия для Мандельштама всегда была знаком присутствия Божия. Как и для Шаламова, только под другим именем.

В том беспросветном мире, как на океанском дне, где под чудовищном давлением обитают расплюснутые организмы, поэзия казалась иноприродным явлением. Это особенность его взгляда, давшего нам монотонную картину бездны.

За стихи запрещенных поэтов, в которых слышалось Слово Божие, сажали. Они были все же отдаленной проповедью при молчащей Церкви.

Виктор Некипелов, узник брежневской эпохи. Ее сегодня ностальгически приукрашивают близорукие политики. Она мытарилась его и в тюрьмах и на поселении. И в конце концов отрыгнула, уже смертельно-больного за границу – за границу своего великодержавного утробия.

Он тоже не выставлял напоказ свое вероисповедание. Но Дух, дышащий, где хочет, коснулся его неукротимого голоса.

Баллада о третьем обыске

*«В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог» (Ин. 1:1)*

*Такого шмона, право,
Ещё не видел мир.
Нагрянула орава
Изысканных громил.*

*Не прежних белоручек, —
Отменных мастеров.
Промяли каждый рубчик,
Вспороли каждый шов.*

*Какой-то хитрый лазер
Таращил мутный глаз.
А самый главный — слазил
Руками в унитаз...*

*А я, как будто дачник,
Смотрел на тот погром.
Что ищут? Передатчик?
Иль провод в Белый Дом?*

*Но было всё не ново,
Я знал: и в этот раз
Они искали Слово,
Которое вне нас.*

*Которое взмывало
Голубкою с руки,
Которое взрывало
Их троны и замки.*

*Грозило, как комета,
Томило, как гроза,
Наполнив душу светом
И радугой глаза.*

*Пылало, как горнило,
Облив зарёй восток.
Хранило и казнило,
И называлось — Бог.*

Ноябрь 1973.

Владимирская тюрьма.

В книге «Поэзия узников ГУЛАГа» собрано более трехсот авторов. Разумеется, они разного достоинства. Настоящих поэтов среди них не так уж и много.

Но в этих погибельных условиях, кроме феномена творчества, как такового, обнадеживает светлая аура – у самых здравомыслящих, самых свободолюбивых... Их, конечно же, меньшинство, уверовавших: «где Дух Господень – там свобода».

*Выпрямиться, подняться,
Свет разглядеть во тьме.
Жизнь полюбить – и остаться
Вольным в самой тюрьме.*

Марина Ямпольская

Молодой, смертельно-больной Юрий Галь утверждает даже, что здесь, в тюрьме – средоточие свободы, потому что в тюрьме оказались люди, постигнувшие ее абсолютную ценность.

*Нас двадцать смертников в клетушке,
К нам не доходит солнца луч,
Но с нами Гёте, с нами Пушкин,
И дух наш светел и могуч.
Как ночь – гремит ключами стража:
«На двор!» – Проверка иль расстрел?
Мы к этому привыкли даже,
Никто пощады не хотел.
Дни перед казнью. Будто роды,
Мучительная благодать.
Но приобщившихся свободы
Уже ничем не запугать.
Как Божий мир премудр и чуден!
Высокая стена. Тюрьма.
Внутри: свобода, правда, люди.
Снаружи: рабство, звери, тьма.*

Неволя дала опыт внутреннего ощущения свободы, которая никому не навязывается. Даниил Андреев открыл ее для себя, спускаясь в глубины души, в потемки подсознания и даже, «в миры демонические». Их описывать куда проще, чем пути восходящие к сферам заоблачных сияний.

И все же он решается. Результатом чего стала его книга «Роза мира», созданная в тюрьме. Поэт неуязвим, осененный тютчевским призывом: *«Молчи, скрывайся и таи / и чувства и мечты свои».*

*Ты осуждён. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привёл в сырой острог.
Дверь замурована. Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу – не ввысь, но вглубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные, – отчалъ же! правъ! спеши!
И кто найдёт тебя в морях твоей души?*

Рок, как неумолимый поводырь, исключает свободу в христианском ее понимании. Но он и не был христианским мистиком, он был поэтом. Он мечтал о взаимопонимании религий, о великой созидательной миссии, которую они могут сообща осуществить на земле.

В его романе, исчезнувшем на Лубянке, есть знаменательный эпизод. Тюремная камера свела вместе трех человек, представителей трех религий: индолога, православного священника и муллу. Все трое молятся за несчастных сокамерников и друг за друга. Неволя разрушает канонические преграды, делает близкими людей, обьятых одной опасностью, как зверей, спасающихся из лесного пожара. Рядом оказываются и волк и рысь, и олень.

Это триединство в тюремной камере вовсе не модель некой суперэкуменической религии. Горе сближает людей, приглушает звериные инстинкты, которые, как известно, до Неба не доходят.

Откровение пророка Исайи, дает нам схожую картину, но – только в Царстве Мессии, когда вся «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море», тогда «и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе». (Ис.11:9)

Поэт Даниил Андреев, наделенный пророческим даром, мог видеть эсхатологическую перспективу в убогом и трагическом настоящем.

Молитвенное чувство мерцает в состояниях бесправного человека, в его стихах. Оно имманентно человеческой душе. Оно обращено ввысь, к небу, к звездам.

Звезда – частый мотив возвышенных переживаний. Особенно на просторах русского романа, откуда перекочевала и в тюремную лирику, и в натальную живопись тауировок.

Но Вифлеемская звезда от них отличается. Религиозное чувство имеет двуединую направленность: ввысь и вниз одновременно. Оно обращено к Небу, которое на земле. Вифлеемская звезда заглянула не в хлев, согретый дыханием волов, а в ледяную пустыню и озарила ее ослепительной красотой.

*Звезда играет над тайгою,
Над снежно-искристой землёй, –
Воспоминанье дорогое –
О чём? И точно ли – зимой?*

*Да! Драгоценное, живое
Очарованье навсегда:
Пахучая – с мороза – хвоя,
Снег, Вифлеемская звезда...*

*Волхвы... Прости кощунство, Боже, –
Каким волхвам, кому повеем? –
Скажи: Ты на Голгофе тоже
Сквозь слёзы видел Вифлеем?*

*... Звезда Халдеи над тайгою,
И над снегами, в звёздах, – Ты...
Ты, Боже, Ты!.. Кто б мог такое
Излить сиянье красоты!*

Сергей Бондарин

Небесный свод был тем единственным куполом храма, под которым можно было беспрепятственно молиться. Особенно ночью, под мерцающим покровом Божественного присутствия.

Ночь под звёздами

*Свершает ночь свое Богослужение,
Мерцающая движется созвездий крестный ход.
По храму неба стройное движение
Одной струей торжественно течёт.*

*Едва свилась закатная завеса,
Пошли огни, которым нет числа:
Крест Лебеда, светильник Геркулеса,
Тройной огонь созвездия Орла.*

*Прекрасной Веги нежная лампада,
Кассиопеи знак, а вслед за ней
Снопом свечей горящие Плеяды,
Пегас и Андромеда, и Персей.*

*Кастор и Поллукс друг за другом близко
Идут вдвоём. Капеллы хор поёт,
И Орион, небес архиепископ,
Великолепный совершают ход.*

*Обходят все вокруг чаши драгоценной
Медведицы... Таинственно она
В глубинах неба, в алтаре Вселенной
Векам веков Творцом утверждена.*

*Но вот прошли небесные светила,
Исполнен чин, творимый бездны лет,
И вспыхнуло зари паникадило,
Хвала Тебе, явившему нам свет!*

Александр Солодовников
1940. Колыма. Ночная смена

Елена Владимировна Вержбловская, в иночестве монахиня Досифея, была арестована в тридцать девятом году. Следовательно выбивал из нее показания.

Она прозрачная, хрупкая, он – сутулый минотавр с пудовыми кулачищами. Бил не по лицу, но, падая, она разбила голову и кровь залила ей глаза. Она потеряла сознание. Во все время допроса и под ударами она молилась «*Spiritus dominat forma, Spiritus dominat forma, Дух побеждает тело*».

Пришла в себя, почувствовав холодное полотенце на лице и его мягкие ладони. Он держал ее за плечи, говорил какие-то не казенные слова, в интонации слышалась просьба о прощении. У него был человеческий взгляд.

Молитва всесильна.

Максимилиан Волошин в двадцать первом году пишет: «Мы выучились верить и молиться за палачей...». Известен случай с генералом Марксом, которого Волошин в буквальном смысле отмолил, спас от казни.

По убеждению христианина, человек, убивающий другого, убивает и себя тоже. Он – тоже жертва. Жертва самого себя – скрытых или неуправляемых демонических сил. И, значит, нуждается в сострадании, в участии. И что, как не молитва участливого человека, может смягчить его сердце!

Духовное усилие поэта наверняка сказывалось в критической ситуации. Создавало, как бы мы сейчас сказали, активное поле, разряжающее ожесточенную напряженность. И доводы милосердия бывали услышаны.

Подкреплю эту мысль своим стихотворением.

*Молиться за врагов, за окаянных, – значит
Желать врагам добра. Так праведник сказал.
И он, конечно, прав. Но плоть давненько плачет
По ним. Я сам бы их прилюдно наказал.*

*Вдруг промелькнёт во сне – страшной летучей мыши
Знакомый супостат. И мучаюсь без сна.
Да будут их сердца объаты светом свыше.
Да будет их любовь избыточно полна.*

*Молиться за врагов, как за себя бороться.
Сберечь душевный жар, льда растопив скалу.
От призрачных затей спасает миротворца
Желание добра, а не потворство злу.*

Но разве не молились в неволе десятки тысяч священников?..

Непостижим промысел Господень...

Россия вошла в революцию безбожной страной. Вспомним Лескова, который звонил во все колокола: «Евангелие в России еще не проповедано». И в ГУЛАГ провалилась, толком не понимая, что произошло. Она, с перебитым хребтом, и сегодня еще не выбралась до конца из этой ямы.

Насилие обретает цивилизованные формы. ГУЛАГ – наше дурное наследие, оно и в крови и воздухе, и в цинизме человеческих отношений: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Но ГУЛАГ – это и испытание, которое с помощью Божьей должны мы одолеть...

Я очень хорошо помню годы пятьдесят третий, пятьдесят пятый, пятьдесят седьмой – волны амнистий... Они всколыхнули нашу юность... пленили раннего Высоцкого заблатненной романтикой. Они, повторяю, еще не схлынули из нашей жизни. Ибо «горе народу без слова Божьего» (В. Марцинковский):

*Споспешествует Истина идеям.
Одним демократическим затеям
Не удержать благого устремленья.
Народ без Слова Божьего – потерян.
И обречён на самоистребленье.*

*Народ без Слова Божьего – пучина,
Выталкивающая на поверхность сонмы бестий.
Лишь в этом вековечная причина,
Твержу, – российских окаяństw и бедствий.*

*И в каждом жлобстве, шельмовстве, убийстве
Слепорождённых выпучены недра.
Народ без Слова Божьего, как листья,
Мятущиеся от ветра.*

*Твержу и повторяюсь без смущенья,
Что ревностью кому-нибудь наскучу.
Народ без Слова Божьего – каменья,
Остатки рода, собранные в кучу.*

*А важным господам, уж, если метят
В поводьри на нашем бездорожье,
Ох, и зачтётся... Что они ответят
Тому, Кто поручил им Слово Божье?...*

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вероника Лосская

О «Записных книжках» Цветаевой

Вступление

Когда в двухтысячном году открылись архивы Цветаевой, специалисты ее творчества не ждали ничего нового в виде интимных биографических или творческих открытий. Всем было известно о пропавших рукописях или переписках. Ожидались только уточнения «по мелочам», по определившейся за годы работы, по схеме: «Цветаева – жизнь и творчество» и «Неизданное».

Осмелюсь сразу, вразрез с установившимися позициями, утверждать, что, по-моему, всем работам по Цветаевой, включая, конечно же, и мои собственные, *не хватает* одного: синтетического *видения*, то есть общего взгляда на творчество Цветаевой, во всем его жанровом и хронологическом развитии.

И вот именно, с этой синтетической позиции, включая работы над архивами¹, без которых такой взгляд был бы невозможен, «Записные книжки», вышедшие в Москве в двух

¹ Подробные сведения об архивных данных находятся в примечаниях к изданию: Марина Цветаева, *Неизданное. Записные книжки*. Москва, Эллис Лак, 2 тома, 2000–2001, составление, подготовка текста и примечания Е. Б. Коркиной и М. Г. Крутиковой. К ним следует прибавить интересные наблюдения доктора наук Каролин Беренже, в ее неизданном докладе «Записные книжки Цветаевой», на студенческом семинаре профессора Катрин Депретто, в университете Сорбонна, Париж, апрель 2007 года, по-французски.

томах, и которые теперь выходят во французском переводе тоже в двух томах, в Париже², вот с этой позиции и выявляется *парадокс* разного подхода к жизни и творчеству Цветаевой в России и во Франции.

В России прославляется, сначала запрещенный, а потом, около восьмидесятих годов, вошедший в моду большой *русский поэт-женщина*: Марина Цветаева. Помнят также и о том, что она писала эссе на разные темы и автобиографическую прозу.

Во Франции, почти одновременно, появляются избранные переводы стихов и потом большая волна переводов прозы, но всегда «избранное». Почему так? Прозу легче переводить, тем более Цветаеву, с ее сложной ритмикой и не менее сложной системой образов. Таким образом, прославляется крупный *русский прозаик и поэт – женщина* Марина Цветаева, на французском языке.

На сегодняшний день, в серии «Неизданное» вышло более десяти томов разных личных документов. Такое огромное количество прозы, у русского поэта, почти классика! Содержание текстов показывает, что многие из них являются, собственно говоря, не черновиками, а заготовками к публикации.

Всем известно, что Цветаева написала гораздо больше, чем, по разным причинам, было обнародовано при ее жизни. Поэтому и неудивительно, что появление этих томов значительно меняет общую картину ее творчества.

В том порядке, в котором «Записные книжки» появились в печати, уже были известны до них: «Сводные тетради» (1932–1933 и 1938–1939)³, книга «Семья, История в письмах» (1910–1941)⁴ и многие тома в изданиях «Вагриус» и Дома-музея Цветаевой в Москве, содержащие разные собрания писем и другие биографические документы.

² В издательстве Syrtes, Paris 2008.

³ *Сводные тетради*, Москва, Эллис Лак, 1997.

⁴ *Семья, История в письмах* Москва, Эллис Лак, 1999.

О «Записных книжках» можно сделать несколько наблюдений, для начала чисто внешних.

Что касается ранее неизданных текстов Цветаевой, их описание подробно дается во вступлении к двухтомнику «Записных книжек» Е. Б. Коркиной, а также в других статьях ⁵.

История развивается с тринадцатого по тридцать девятый год. Из пятнадцати книжек почти половина «походные», как их называла сама Цветаева, то есть маленькие карманные; другие – настольные, часто размера школьной тетрадки. Кроме того, добрая половина исправлена и представляется, как «чистовик», готовый для публикации. Другой аналог – «Сводные тетради», которые Цветаева переписывала, приводя в порядок свой архив, до отъезда в Москву в тридцать втором и тридцать девятом годах.

⁵ См. в книге Е. Б. Коркиной, *Архивный монастырь*, Москва, Дом-Музей Цветаевой, 2007, «Об архиве Марины Цветаевой, стр. 20-28, а также *Записные книжки* (цит. произв.).

Всего в цветаевском архиве, хранящемся в РГАЛИ 39 черновых тетрадей, из них 15 под названием «Записные книжки» и 4 тетради, изданные под названием «Сводные тетради» (М; Эллис Лак, 1997).

Хронология «Записных книжек»:

1. с 1 по 8 писались в Москве (и Феодосии – с 1913 по 1921 г.)

9 – это фрагмент, вырванный листок из записной книжки, с одной берлинской записью 19 мая 1922 г.

10 и 11 – две чешские записные книжки 1923–24 гг.

12 – фрагмент, два маленьких листочка, вырванных из записной книжечки, с записью 12 февраля 1925 г., когда она еще не вставала после рождения Мура.

13 – тоже фрагмент, листок 1932 г.

14 – французская записная книжка 1932–33 гг., ежедневник на 1933 г.

15 – пароходная.

(В обзоре, который перепечатан в «Архивном монастыре» на с. 26, я указываю 12 записных книжек, так как, конечно, не учитывались тогда три фрагмента.)

Сводных тетради – четыре.

Кроме этого имеются:

– 12 беловых тетрадей и 43 черновые (Арх.монастырь, с. 24–25, там 16 беловых, ибо присчитывала к ним сводные тетради). (Е. Б. Коркина, из частного письма).

Получается, что главная масса книжек двухтомника писалась с тринадцатого года по двадцать первый, а именно от первой до восьмой книжки включительно, то есть от младенчества Ариадны до отъезда Марины Цветаевой из Москвы.

В первой части от книги первой до восьмой включительно, записи ведутся удивительно регулярно, как дневник, то есть ежедневно, за редкими исключениями. Потом идут более редкие записи и, наконец, фрагменты, и они менее «чистые».

В книжки входит все: и житейские наблюдения, и личные чувства автора, и рост младенца-дочери, и бытовые подробности, и записки, «чтобы не забыть»: счета, адреса, даты назначенных встреч и так далее. В них наблюдаются и жанровые различия: одни являются настоящими записными книжками, другие переходят в жанр дневников.

Можно еще установить различия содержания в общих чертах, между разными хронологическими пластами. Начинаются они с острого чувства ревности молодой матери ко всем, окружающим ее дитя. Это первые книжки (тринадцатый год – половина девятнадцатого). В них записывается все, что касается развития дочери, а также подробности жизни ее самой.

Далее записи касаются «чердачной жизни» в период революции, гражданской войны и жизни с двумя дочерьми в Москве, без вестей о Сереже. Самая последняя запись марта двадцать первого года, – тоже Аля: это ее слова с отсылкой на Евангельский текст о хлебе и камне (Матф. 7, 9–10); ей тогда идет девятый год.

После них фрагменты касаются первых лет жизни за границей (двадцать второй-двадцать третий), потом идут записи по годам, но не последовательно, и, наконец, последняя запись – отчет пути из Гавра в Ленинград на пароходе в тридцать девятом году.

Общее, что можно отметить о содержании записей – это тщательность автора, которая наблюдалась и отмечалась критиками и раньше, в публикациях переписки Цветаевой с раз-

ными людьми, даже по черновикам, как, например, переписка Цветаевой с Пастернаком⁶, или в переписанных черновиках дневников, как в «Сводных тетрадах».

Это определенно писательский ход, и я могу согласиться с наблюдением И. Шевеленко⁷, что вопреки предисловию к сборнику «Из двух книг», где она советовала записывать «все», она сама строго отсеивала из того, что уже было напечатано. Так и здесь Цветаева опять делает отбор. Читатель в «Записных книжках» понимает, что временами, под видом полной отчетности, с целью ничего из жизни не пропустить, автор выстраивает из пережитого новое произведение искусства.

Как только начинаешь читать текст, сразу видишь, что главный персонаж книг и герой всех драм – женщина-поэт Марина Цветаева. Этот цветаевский «моноцентризм» – тоже писательский ход. Это стремление из своей жизни сделать событие, то есть создать свою творческую биографию. Такое отношение было свойственно поэтам начала прошлого, или «серебряного» века, среди символистов и вообще среди разных «творцов искусства». Тогда литераторы были и художниками, и музыкантами, и каждый творил свое искусство, пользуясь своей жизнью, как материалом.

И я нарочно отступаю от обычной точки зрения на эти тексты, как на биографические документы. Я сознательно рассматриваю их как отдельные рассказы, что, как мне кажется, меняет всю картину.

Кроме того, автор в них завязывает разные драматические узлы и подает их читателю, иногда в хронологической последовательности, а иногда в синхронном их развитии.

Первый узел, конечно, *Мать и ребенок*: новорожденная Аля, во всех подробностях своего младенческого существования, с утомительной повторностью, как новый опыт молодой

⁶ См: в книге *Марина Цветаева – Борис Пастернак*, Письма 1922–1936. Вагриус, Москва, 2004, предисловие И. Шевеленко, стр. 6–7.

⁷ И. Шевеленко, Литературный путь Цветаевой, НЛЮ, Москва 2002, стр. 55

женщины-матери. Этот узел, в своем широком развитии проходит через весь первый том и через сотню страниц второго. Он насыщает все эпизоды жизненностью и плотской тканью.

За обеими женскими фигурами, несколько в стороне стоит мужчина – один. Это почти подросток, молодой муж молодой матери, ему тоже дано имя реального человека из биографии автора.

За ним идут все остальные герои ее последовательных увлечений, иногда один за другим, иногда даже одновременно. Можно только напомнить, что помимо разных высказываний автора относительно физической близости, есть у нее и явное и уже известное из других свидетельств, – стремление к невозможной любви. Отсюда разные увлечения, например, старыми людьми, как Стахович или Волконский, заведомо не склонными к женской любви; или другими, отраженными в иных пластах творчества: это то, что я однажды назвала у Цветаевой в жизни и в творчестве «над-сексуальностью»⁸.

Вливается и иная документальность, ибо любое произведение вымысла и воображения всегда строится на жизненном опыте. Почти сразу после своего материнства Марина Цветаева сделала большой шаг в сторону внешнего мира. Через этот шаг ее творчество прониклось новыми событиями. Это были Россия, революция и война, больше гражданская, чем Первая мировая. В этом «узле» через глаза героини пишется большая историческая фреска.

Еще один драматический узел – младенец Ирина и трагическое одиночество матери и ребенка на фоне голода и нужды. Это также период творческого неистовства: глаз переходит, не задерживаясь, от стены к стене, где записаны рифмы, и отдельные строчки очередных стихотворений. Потом текст уводит читателя-зрителя прочь от разоренного дома, за стенами которого идет «грабеж»⁹ и бушует разбой.

⁸ Марина Цветаева, *Труды 1-го международного симпозиума*, Лозанна 1982, стр. 25 (В. К. Лосская «К будущей биографии Марины Цветаевой»).

⁹ Под таким названием рассказ был включен в неизданную при жизни книгу «Земные приметы», а также ниже и прим. 11.

Какое значение все эти «узлы» имели в творчестве Цветаевой, мы уже знаем по многим публикациям.

Но и до появления ее посмертных книг любителям уже были известны некоторые прозаические произведения, построенные на основе этих записей. Например, рассказ «Чердачное», описывающий быт в гражданскую войну, вышел отдельно только после отъезда из Москвы¹⁰.

О других автобиографических произведениях, как, например, «Повесть о Сонечке» можно сказать, что первые записи были сделаны еще в Москве и именно в том страшном девятнадцатом году, который занимает почти четыреста страниц двухтомника. Например, и «Письмо Сереже» вставлено в рассказ «Октябрь в вагоне», служба в советском учреждении «Наркомнац» в известные «Мои службы».

Следует здесь еще напомнить, что «Земные приметы» в форме книги, какую Цветаева очень хотела напечатать, были опубликованы только посмертно и впервые в Париже, во французском переводе¹¹. А задуманы они были как отдельная повесть о жизни и быте в Москве, когда Цветаева осталась одинокой матерью с двумя малолетними дочерьми.

Можно даже предположить, что Цветаева писала эти очерки, продолжая привычку детских занятий, или как ученические упражнения, прямо вставленные в текст «Записных книжек». Подобно тому, как она заставляла свою старшую дочь писать регулярно и записывать в тетрадку отдельные сочинения на заданную тему, о чем сама Ариадна Сергеевна рассказывает в своих воспоминаниях о матери¹².

Да, задуманы, да, зарисовки, да, черновики, но вместе с тем живые рассказы, которые писателю важно было сохранить, как живую ткань своего творчества. Это была та трепещущая жизнь, которую она должна была потом выварить,

¹⁰ В газете «Дни» Берлин, 1924.

¹¹ В издательстве «Клеманс Ивер», Париж 1987.

¹² См: Воспоминания А. С. Эфрон в книге «Воспоминания о Марине Цветаевой», М. 1992 стр. 159.

претворить, преобразить в произведение искусства. А пока, это была часть ее души и ее персонажа.

И в наши дни, в крупном французском издательстве уже лежит готовая публикация цветаевских воспоминаний о семье и о детстве, в хронологическом порядке событий¹³.

Таким образом, через разные французские издания прозы, по ходу составления французских переводов и их публикаций и узнаются эти «узлы» в их стройной авторской последовательности. Все эти сведения внимательный читатель может сам почерпнуть из чтения «Записных книжек».

А теперь я хочу обратить внимание на отдельный момент биографии Цветаевой.

Есть в этих двух томах «истории души» молодой женщины двадцатого века одно, центральное место, которое я считаю ключевым во всем повествовании. Это рассказ о том, как молодую героиню посетил однажды писатель, поэт-символист и мыслитель Вячеслав Ив́анов.

Героиня очень ждала этой встречи, она рассказывает о своем трепетном ожидании со свойственной ей страстностью.

Дана точная дата: «19-го русского мая 1920 г.; среда»¹⁴.

До этого идет подробное описание предшествующего дня. Точно, как у Толстого, когда он решил рассказать о том, как он стал писателем. Тогда он и написал свою известную «Историю вчерашнего дня».

Вся последующая сцена передана с большой тщательностью, не пропуская ни одной детали: ни спинки стула, ни домашнего беспорядка и разорения, ни аккуратных и правдивых ответов на бытовые вопросы Вячеслава Ив́анова. Но почти сразу устанавливается нечто вроде известной нам по стихам ситуации – Учителя и ученика. Ситуация эта знакома самой героине по жизненному опыту беседы с Учителем (см. например цикл «Ученик» двадцать первого года, включенный в книгу «Ремесло»).

¹³ Marina Tsvetaeva. Prose autobiographique. Vol.I éditions du Seuil. Paris, à paraître 2008.

¹⁴ Том 2, стр. 165.

И вот, на вопрос Учителя – «Что же Вы пишете? Стихи?» – первое признание героини:

«Я страстно увлекаюсь сейчас записными книжками: все, что слышу на улице, все, что говорят другие, все, что думаю я...»,
затем идет интересная беседа двух умных профессионалов. У Учителя большой опыт и он щедро им делится.

Тут и произносятся важнейшие слова Учителя, прошу обратить внимание:

– *«Вам надо писать Роман, настоящий, большой роман. У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны. После Толстого и Достоевского у нас не было романа».*

– *Я еще слишком молода,*

– (а Руслан и Людмила? Пушкину было двадцать лет! А Цветаевой уже идет двадцать восьмой год!),
я много об этом думала, мне надо еще откипеть...»

(Вот он, Пушкин: «Прошла любовь, явилась муза»).

– *«Нет, у Вас идут лучшие годы. Роман или автобиографию, что хотите, – можно автобиографию, но не как Ваша сестра, а как «Детство и отрочество».*

Я хочу от вас самого большого.

– *«Мне еще рано – я не ошибаюсь – я пока еще вижу только себя и свое в мире, мне надо быть старше, мне еще многое мешает».*

(И, наконец, те решающие слова, которые меня навели на мое открытие):

– *Ну, пишите себя, свое, первый роман будет резко-индивидуален, потом придет объективность».*

Далее, в разговоре с Вячеславом Ива́новым, героиня еще возражает:

– *Я боюсь произвола, слишком большой свободы. Вот в пьесах, например: там стих – пусть самый податливый! Самый гнущийся! – он все равно – каким-то образом – ведет. А тут полная свобода, что хочешь, то и делай, я не могу, я боюсь свободы».*

А Учитель продолжает:

– *«Не бойтесь свободы. Повторяю, свободы нет! – Кроме того, настоящим прозаиком можно сделаться, только пройдя школу стиха».*

И далее:

«Для прозаика нужно умение видеть других, как себя и себя как другого, – и большой ум – он у вас есть – и большое сердце».

Героиня записывает и свои заключительные размышления. А в конце идет высказывание о том, что женщине трудно написать больше чем один роман. Но ведь у Цветаевой они пошли, один за другим. И так же как в стихах она «сама не знала», что она – поэт, в прозе она, может быть, не знала, что она пишет.

В другом месте «Записных книжек» Цветаева еще поясняла: «Я одна с моей большой любовью к собственной душе». Это полу-цитата из предисловия к ее третьей публикации «Из двух книг».

И как всегда – трудно провести черту между доводами героини и глубокими выводами писателя.

Теперь я хочу сделать небольшое *отступление о себе* и рассказать, что со мной недавно случилось.

Зная, что «Записные книжки» Цветаевой собираются издавать по-французски, я этим летом *перечитала* уже знакомые мне два тома. А осенью издатель меня попросил пе-

речитать французскую версию, сделать кое-какие заметки и примечания и написать одно послесловие.

Просьба была срочная, вот я «залпом» и прочла французскую версию двухтомника за три дня, то есть, не отрываясь, как еще не так давно читали самиздат, одолженный на одну ночь.

И именно в этот момент для меня открылось то, чего я раньше не знала, не замечала, не видела, а именно:

Вот он и есть тот РОМАН, который Цветаева мечтала написать.

И теперь, прочтя в третий раз – залпом, могу сказать, что роман «состоялся»! Более того, объективный, несмотря на всю видимую субъективность. «Моноцентризм», о котором было уже сказано, только на поверхности. На самом деле, каждый читатель найдет и свои страницы, где речь идет именно *о нем самом* и где написано все, *специально для него!* Модернизм, авангардизм, постмодернизм? Все это темнит проблему.

У Цветаевой, удивительно опережающая век современность, это ее главная характеристика. Она является перед читателем, как «Я – творец своего я» или «Я творю свою биографию». В этом и заключается глубокая современность романа Цветаевой.

Удивительное смотрение в зеркало¹⁵, как в так называемой, «женской» литературе XX века. Это придает несомненность, бесспорность и убедительную современность цветаевскому роману и ее прозаическому наследию в целом.

Тут (я имею в виду первые восемь книжек) и любовные интриги на фоне страстного романа с дочерью, тут и эпопея гражданской войны, тут и жизнь и смерть через творчество, вся история души. Это «Исповедь сына века» (Мюссе) или ... пожалуйста, вот вам Соня, Анна Каренина, вот и Николенька, Настасья Филипповна, вот Раскольников, Вронский, вот Дядя Степа и даже Павлик Морозов! Они *все* тут!

¹⁵ Статья в Ex Libris 11/X/2007 о книге И. Савкиной «Разговоры с зеркалом и зазеркальем»: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века, НЛО, 2007.

Как у французского писателя Пруста у Цветаевой воспоминание рождается из предмета, а потом разворачивается в стихах и в прозе: это куст рябины, или книжный шкаф в комнате Валерии, или деревья, или ноты романсов.

Пруст, в своем многотомном романе «В поисках утраченного времени» отравился искать себя в пережитом. Так и Цветаева из своих повторов и записок о детских словцах дочери, или о заказах платьев и о вечерних своих юношеских нарядах, через все это пытается удержать стремительно убегающее от нее время!

И получается, как у Пруста с его фразами длиной в целую страницу, или ассоциация вызванной известной детской сладкой булочкой с чаем!.. (знаменитая прустовская мадлен). Булочка воскрешает давнее прошлое, на нем и строится все повествование. Так и у Цветаевой все нанизывается на один образ, то есть на одно предложение с придаточными оговорками.

Это постоянное стремление осмыслить, до-понять, договорить. То именно, что Бродский подчеркивает, там где он объясняет, что Цветаева представляет удивительный случай нагромождения в прозе придаточных предложений. От безумной попытки все объяснить до конца¹⁶...

И если вспомнить описание любви ребенка к роялю (проза «Мать и музыка»), там тоже одна страница начинается со слов «Я его любила», а затем вдоль всей страницы, каждый абзац начинается словами «за то...».

Позволю себе продолжить эту мысль: обилие придаточных предложений свойственно также многим стихотворениям, ранним или поздним, как «*Моим стихам, написанным так рано*», или «*Тоска по родине! Давно / Разоблаченная морока!*». Они построены на одном дыхании, начинаются фразой, высказанной в первой строчке, а через многие придаточные предложения разрешаются только в последней строфе или строчке, ради которой, как она сама объясняла, и писалось все стихотворение.

¹⁶ И. Бродский о Цветаевой, Москва, Независимая газета, 1997, стр. 67–68.

Но главное не в этом.

Главное в том, что создающаяся в «Записных книжках» проза оказывается совсем новая и даже удивительно современная. Цель повторов – не только все сохранить, но и – и это главное – создать иллюзию живой трепещущей мысли, как только она появилась. Той Афродиты, живой и красивой, когда она только что вышла из пены морской, как в «Камне» Мандельштама, или в его «Раковине».

Цветаева, также, как Адам еще в раю, до грехопадения. Она получила от Бога одно назначение. Как и у Адама, у нее одна задача: дать всем животным имена, то есть все живое *н а з в а т ь*, всему сущему, Им – Богом созданному, придать словесную форму, перевести на понятный язык.

Отсюда все эти платя и платочки, Алины словечки первого тома, этот окаренко-корыто, и горящие угли «девятнадцатого года», и Иринины жизнь и смерть, и Большевик, глядящий героиню по головке, как и вся ее – героини нескончаемая любовь к жизни, к людям !

Поэтому, как мне кажется, все подступы критиков «цветаеведов» к изучению ее творчества в течение уже многих лет всегда и обязательно начинаются с истории творческого пути, иными словами с подробного биографического повествования¹⁷. И, так называемая, «автобиографическая волна» ее прозы тридцатых годов во Франции, на самом деле определяла подтекст всего ее творчества, с самого раннего. Получается, что без биографии не обойтись, потому что путь самого героя – Цветаевой и есть подтекст всего ее трагического творчества, как поэта, так и прозаика.

«Пишите, пишите», – говорила она в предисловии своей ранней книги, так она сама и написала тот роман, который теперь выходит во французском переводе.

¹⁷ В этом смысле последняя полная монография о Цветаевой И. Шевеленко, (ук. произв.) не является исключением, хотя в первой главе автор подробно анализирует все предыдущие труды о Цветаевой, от которых как она надеется, ее работа резко отличается своей установкой исключительно на творческий путь.

И все дело в том, что я, как близорукий специалист не сумела стать на то нужное расстояние, какое необходимо для картины художника-импрессиониста. То есть на то расстояние, на котором раскрывается гармония Ван Гога, например. То есть, оторвавшись от отдельных мазков, каждый лепесток подсолнуха надо было сохранить, – а они ведь так похожи, другой раз попадаются дважды, – каждую травинку, главное – ничего не растерять! И есть обобщающий всю картину, обеспечивающий гармонию и единство целого – как на картине Ван Гога его глаз художника, так и в «Записных книжках» один герой, это женщина-поэт Марина Цветаева.

И такие, как я, нелепые, хотя уже привыкшие: ведь уже в прошлом XX веке, мы читали прозу Цветаевой с употреблением собственных имен и известных фактов. Мы тогда думали, что нам подаются биографические документы... А оказалось, что эти «Записные книжки», от первой до восьмой включительно, и есть ее первый роман. Так же как и «Сводные тетради». Но о них другой раз.

Вот то открытие, которого мы ждали от открытия архивов и которое теперь нам преподносится.

Теперь я думаю, со мной кто и поспорит.

Главное возражение против моей догадки, что Цветаева в «Записных книжках» пишет свой первый роман, это отрывочность стиля, повторы, вязкость ежедневного быта, да и в целом, общее впечатление черновых набросков или «сырой» прозы, мнимое отсутствие отсева.

Зачем же Цветаева так писала?

Прежде всего у Цветаевой есть определенная склонность к афористичности, к стилистической отрывочности. Это, быть может, подсознательное подражание Розанову, которого она почитала, и который так повлиял на все это поколение. Вспомним еще об увлечении Цветаевой дневником Марии Башкирцевой, или о новых открытиях «женской» прозы, как западной, так и русской.

У нее у самой есть догадка о «романе» в ранней молодости. Через афористичность она именно создавала фикцию рождающейся мысли, трепещущей, горячей настоящей жизни, созданной ее пером из глины собственного опыта.

Кроме того, записи ведутся на одном дыхании, в трепете жизни, а как продержаться на одном дыхании, вдоль тысячи страниц? Вот и приходится разрывать. Она ведь сама писала о том, что не любит стихи, которые льются, а только те, что «рвутся» Это есть у нее и в прозе.

А повторы потом, как мы знаем, выливаются в отдельные рассказы.

Из чего делается роман? Именно из пережитого, крупного и мелкого, и чего-то еще. В поисках этого «чего-то» и пишется цветаевский роман. Как в анализируемом выше разговоре с Вячеславом Ива́новым, Цветаева, привыкшая писать стихи, еще описывает те преграды, которые она приучилась не переступать. Она боится той абсолютной свободы, без принудительной рифмы или размера, которые ей хорошо знакомы в стихах.

Интересно, например, что почти одновременно с разговором с Вячеславом Ива́новым, Цветаева в очерке «Отрывки из книги «Земные приметы» точно так же объясняет свои страхи перед прозой:

«В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова, у меня, в конце концов, может оказаться остов.

В стихе – некая природная мера плоти: меньше нельзя»¹⁸.

Еще один пример приходит на ум, тоже современный, из американской послевоенной литературы: писатель Дос Пасос. Он пишет роман «США», составляя его по технике коллажа, из газетных вырезок, из частных случаев, из романов и слез. И получается картина, точно соответствующая его на-

¹⁸ Марина Цветаева, *Собрание сочинений в семи томах*, Москва, Эллис Лак, 1994, т. 4, стр. 527

званию – «США». Было уже замечено и подчеркнуто критикой по поводу прозы Цветаевой, что у нее есть стремление соединять разнородное, именно через коллаж¹⁹.

Думаю, что техника коллажа соответствует ее прозе больше чем стихам, прозе вообще или роману с интригой и с многочисленными узлами.

Иногда, особенно прочтя повесть об ужасающем девятнадцатом годе, кажется, что цветаевская проза – голое или живое мясо (подражая Марку Слониму, который говорил о Цветаевой, что это – «голая душа»).

Есть еще одно наблюдение современного критика, которое подходит совсем близко к моим выводам. Светлана Бойм пишет (по-английски):

«Есть что-то в самой структуре прозы Цветаевой, что противоречит понятию о «хорошем вкусе» и шокирует литературных критиков. Это выражается в крайнем, «истеричном» и всеобъемлющем субъективизме, которое мешает различать между писанием о себе или о других. Одно переливается в другое. Критические или повествовательные произведения Цветаевой переходят в автобиографию, также как ее более формальная автобиография становится критикой или повествованием. Ее проза переходит через все приемлемые жанровые границы и не позволяет проводить ясное различие между литературной критикой и автобиографией, прозой и поэзией, фактами и вымыслом, автором и повествователем, человеком и персонажем»²⁰.

Почему так? Да именно потому, что ее ранняя проза, проза дневников и «Записных книжек», от первой до восьмой включительно и есть тот роман, который Вячеслав Иванов ее увещевал писать. Она уже тогда, с первых недель жизни младенца Али и начинала это новое произведение в прозе.

¹⁹ А.Смит, *The Song of the Mocking Bird. Pushkin in the Work of Marina Tsvetaeva*, Peter Lang, Berne 1994, также в книге Alexandra Smith «Montaging Pushkin: Pushkin and Visions of Modernity in Russian Twentieth-Century Poetry», Amsterdam / New York: Rodopi, 2006, p. 298

²⁰ S. Boym, *Death in Quotation Marks*, Harvard, 1991.

Заключение

Что же теперь получается?

Может быть через этот спор «Роман // Не Роман» мы и подходим к разрешению того парадокса, с которого я начинала эти поиски почти семьдесят лет спустя после смерти Цветаевой.

Ведь Цветаева в России известна, как крупный поэт, первого разряда! Прозу ее русский читатель всегда ставит на второе место.

Во Франции же по незнанию малоизвестных стихов, изданных в переводах небольшими тиражами, она воспринимается французским читателем прежде всего как удивительный прозаик. Через «роман ее жизни», то есть жизни молодой женщины и матери в России во время Русской революции и Гражданской войны. Ведь, если задуматься, публикации документов из РГАЛИ были до перестройки в России просто невозможны, независимо от закрытия цветаевских архивов.

Я отлично понимаю, что русский читатель не может воспринимать Цветаеву иначе как поэта, я и не стремлюсь к нелепому компромиссу между качеством или величием прозы и поэзии.

Я также понимаю, что французскому читателю огромные пласты цветаевского творчества остаются закрытыми, быть может, навсегда.

Как мне кажется, только привилегированные читатели, как я, владеющие обоими языками, могут согласиться с новым моим видением творчества Цветаевой. И оно стало возможным только благодаря публикации «Записных книжек» по-французски²¹.

Этот роман – только часть ее творчества – а ее творчество, это и стихи на русском языке русского поэта и проза русского прозаика в переводе на все другие языки.

И я осмеливаюсь сделать такой дерзкий вывод.

²¹ В издательстве Syrtex, Paris 2008.

²² Русское издание: 2000–2001, см. примечание 1; французский перевод в издательстве Syrtex, Paris 2008.

Только теперь Цветаева встает, по примеру Пруста, в поисках утерянного времени, или Ван Гога в картине с подсолнухами и других; или Дос Пасоса в романе «США», с огромной эпической фреской-романом о материнстве и о быте молодой женщины-поэте в роковые годы истории России, благодаря публикации «Записных книжек»²². Да у нас уже так было: Пушкин к тридцатым годам XIX века стал писать и прозу – «Повести Белкина», «Капитанскую дочку» и другие. А Пастернак-поэт является и автором романа «Доктор Живаго».

Добавлю, что «Записные книжки» (от первой до восьмой), действительно, первый роман, продолженный в дневнике фрагментами и более поздними рассказами, тогда как «Сводные тетради» она переписывает, исправляет и готовит к посмертной публикации.

К этому еще предстоит вернуться в другом анализе прозы русского поэта и прозаика Цветаевой.

Теперь, может быть, наконец и во Франции и в России оба образа соединятся и читатель поймет, что Цветаева – крупный поэт и крупный прозаик XX века.

Париж. Ноябрь 2007

НАСЛЕДИЕ

Сергей Левицкий

Патриарх русской философии*

Исполнившийся девяностолетний юбилей патриарха русской философии, Николая Онуфриевича Лосского, дает повод снова напомнить о его творческом пути и заслугах.

Его физическое долголетие как бы символизирует долговечность его философии. Все, что Лосский создал – около двух десятков крупных трудов и сотни статей, носит на себе печать добротности и поучительности. Каждый труд Николая Онуфриевича есть своего рода философский памятник, несмываемый никаким потоком времени.

Оглядываясь на пройденный им путь, Лосский может сказать, что он собрал обильную жатву, и что жатва эта духовно окормила взыскующих истины. Он строил свое учение крепко, с расчетом на века. Ему чужд философский импрессионизм многих, даже талантливых современных философов, но ему чужд и догматизм старой школы.

Хотя Лосский всегда обладал энциклопедической ученостью, главная ценность его трудов заключается не в этом, а в оригинальности, силе и глубине его мысли. Лосский не только прокладывал, но и проложил новые пути в философии. В ряде философских дисциплин он явился обновителем и пионером.

* Из архива ж. «Грани». 1960 год. – *Ред.*

Верность лучшим философским традициям сочетается в нем с неустрашимостью мысли. То новое, что Лосский внес в русскую и мировую философию, далеко еще должным образом не усвоено, и условия эмиграции не благоприятствовали тому, чтобы у Николая Онуфриевича образовалась своя школа последователей.

Но заслуги Лосского признаются во всех странах с развитой философской культурой. В современных пособиях по изучению истории мировой философии (например, в немецкой книге Хиршбергера) учению Лосского отводится видное место.

Такой крупный русский философ, как Франк, немалым обязан Лосскому в гносеологических основах своего учения. В начале двадцатых годов у Лосского стала образовываться в России группа последователей, из которых наиболее талантливым был безвременно скончавшийся Болдырев. В эмиграции последователями Лосского являются пишущий эти строки и словацкий философ Диешка.

В двадцать втором году советская власть выслала Лосского вместе с группой неугодных власти ученых и общественных деятелей за границу, где он продолжал свою деятельность и где им была написана едва ли не большая часть его трудов.

Преобладающую часть своей жизни в эмиграции Лосский провел в Праге, а затем в Братиславе, где он занимал пост профессора философии.

С сорок шестого года Николай Онуфриевич Лосский находится в Соединенных Штатах.

Заслуги Лосского относятся к гносеологии, логике, метафизике и философии ценностей.

В гносеологии – теории знания Лосский явился основателем нового в философии гносеологического учения – «интуитивизма».

Основная мысль гносеологии Лосского, несмотря на всю углубленность его анализов, в лучшем смысле этого слова проста и умозрительно показуема. Она заключается в ут-

верждении, что сознание носит, по своей исконной природе, открытый, а не закрытый характер, что оно подобно не психическому вместилищу, в которое предмет должен «попасть», неизбежно субъективно преломившись в нем, а, скорее, средоточию лучей, освещающих своим вниманием те или иные отрезки бытия.

Согласно теории Лосского, причинное воздействие предмета играет роль лишь повода восприятия, побуждающего наше «я» как духовное существо обратить внимание на задевший наше тело предмет.

При предпосылке «закрытого» сознания неразрешимой загадкой остается проблема соответствия предмета – представлению о нем. Доказать такое соответствие можно было бы лишь «выпрыгнув» из своего сознания и сравнив имеющееся в нем представление о предмете с самим предметом. Это, конечно, противоречило бы элементарной логике. В силу этого, большинство гносеологий склоняется к объективизации данных сознания, что, опять-таки, приводит к концепциям «закрытого» в себе сознания.

Нужно сказать, что философская мысль до сих пор безнадежно вращается вокруг этой проблемы, а крайние ее течения, например, логический позитивизм, вообще отвергают гносеологическую проблематику, утверждая, что они занимаются лишь «описанием» фактов, не пытаясь стать «по ту сторону» вопроса об их субъективности или объективности. На самом же деле они становятся «по сю сторону» гносеологии, отрекаясь от великого наследия Канта.

В противоположность этому, Лосский не обходит гносеологической проблематики и рубит «Гордиев узел» – указанием на факт интуиции и наследованиями условий ее возможности. Под «интуицией» Лосский понимает «непосредственное обладание предметом в его подлиннике» (не копия, отражение, объективное преломление и так далее). Не гносеологическая субординация объекта – предмету (тезис материализма: «бытие определяет сознание»), и не субординация предмета – субъекту (тезис спиритуализма: «сознание опре-

деляет бытие»), а гносеологическая *координация* составляет, по Лосскому, основной закон познания.

Этим утверждается равенство субъекта и предмета познания, при четком различении их роли в познавательном акте. В этом духе Лосский проводит строгое различие между актом познания и самим познаваемым.

Интуитивный характер познавательного акта в более чистом виде обнаруживается в случаях, когда предметом становится идеальное бытие (мир идей), чужое «я» или, в предельных случаях, Абсолютное (мистическая интуиция). По Лосскому, существует три основных вида интуиции – чувственная, интеллектуальная и мистическая.

В этом указании на интуитивный, «открытый» характер сознания – философский подвиг Лосского, открывший перед философией горизонты подлинного бытия.

В самом «Обосновании интуитивизма» Лосскому поневоле пришлось обратить сугубое внимание на «черновую» философскую работу – на анализ и разоблачение догматических предпосылок гносеологии эмпиризма и Канта. Эта философски-научная оснащенность первой гносеологической работы Лосского в известной степени помешала усвоению его основной мысли, которую ему удалось с большей выпуклостью и убедительностью развить в последующих трудах, особенно в «Логике» и в книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция».

Утверждаемый Лосским гносеологический реализм может навести незнакомых с его трудами на мысль, что в его учении содержится привкус материализма. Но учение Лосского, как небо от земли, разнится от грубого гносеологического реализма диалектического материализма. «Теория отражения», которой придерживается диамат в гносеологии, заражена догматизмом – недоказуемым утверждением соответствия субъективных «отражений» объективным предметам.

Эта разновидность «наивного реализма» неприемлема ни для какой критической гносеологии – и, конечно, в том числе для Лосского, который утверждает другое: наличие самого

предмета или его аспектов в познавательном акте, сущность которого и заключается в направленности на предметы.

В таком понимании сохраняется ценное ядро наивного реализма – инстинктивная уверенность в реальности внешнего мира, но совершенно отбрасывается теория о причинном воздействии предмета на сознание.

Но сколь ни основоположно важно гносеологическое обоснование учения Лосского, гносеология играла для него лишь роль введения в метафизику и в философию ценностей. И в этом отношении учение Лосского полно редкой гармонии мысли, ибо он владеет в одинаковой степени как искусством анализа, так и даром синтеза (качество, редко встречающееся в современных мыслителях, большинство которых – хорошие аналитики, но не слишком удачные синтетики). Для построения же метафизики требуется прежде всего синтетический дар.

Его учение о мире как органическом целом, его смелая и необычайно последовательная защита свободы воли, его утверждение об укорененности реального мира событий в идеальном бытии – открывают перед философией новые горизонты и плодотворно обогащают философскую мысль.

Лосский нашел редкий синтез между монадологией Лейбница, утверждающей неповторимость и индивидуальность каждой «монады», и традицией органического мировоззрения, идущей от Платона и Плотина. В отличие от Лейбница, у которого монады «не имеют дверей и окон», «субстанциальные деятели» Лосского находятся во взаимодействии друг с другом, чем преодолевается опасность метафизического солипсизма. С другой стороны, опасность поглощения индивидуальности в мировом Единстве преодолевается утверждением свободы самоопределения, изнутри присущей каждому «субстанциальному деятелю».

По учению Лосского, в мире «все имманентно всему», все органически связано друг с другом. Соответственно, категория *взаимодействия* является для него одной из основоположных категорий. Но это единство мира не достигает

.степени сплошной слитности, в духе учения Николая Кузанского с его мотто: «Все во всем». Поэтому органическое мировоззрение, которого придерживается Лосский, необходимо отличать от учения о Всеединстве, которое в русской философии, по-разному развивали Вл. Соловьев или Франк. Ибо в системе Всеединства – при всей ценности этого направления, получается недооценка личной свободы и, в связи с этим, недооценка сил зла в мире. В системе Всеединства нет четкой грани между Творцом и творением. Мир мыслится непосредственно причастным Божеству.

В противоположность этому, Лосский везде исходит из позиций персонализма, видящего в личности (потенциальной или реальной) основное бытие и основную ценность.

Особенно важно здесь понятие «субстанциального деятеля», в своих высших формах достигающего степени конкретной личности, в котором подчеркивается активность и личностность того, что в философской традиции было принято называть «субстанцией».

Этот термин, однако, явно устарел: материальная субстанция отрицается современной физикой, видящей в материи скорее проявление сил, а понятие «духовной субстанции» подорвано открытиями современного психоанализа. Давно пора было заменить понятие «субстанции» понятием исходного центра активности, координирующего все сложные проявления данного единства.

В понятии «субстанциального деятеля» сохраняется при этом идея субстанциальности – «в себе сущности», но преодолевается идея пассивного субстрата, привкус которой всегда содержался в идее «субстанции».

Чрезвычайно ценно для метафизики и разграничение понятий «формального» и «конкретного» единства, проводимое Лосским, который пользуется здесь чаще терминами «отвлеченное» и «конкретное» единосущие. Формальное единосущие субстанциальных деятелей как носителей тождественных форм пространства, времени и других основных категорий, является, по Лосскому, условием возможности мира как целого.

Но это формальное единосушие оставляет простор как для сотрудничества и общения, так и для борьбы и разобщения. Конкретное же единосушие достигается именно в результате сотрудничества и общения, могущих доходить до степени симфонического единства.

В силу всех этих соображений, метафизическое учение Лосского никак не может расцениваться как разновидность пантеизма, несмотря на исповедуемый им тезис об ограниченном единстве мира.

Лосский учит, что между Творцом и тварью, – между Господом Богом и сотворенным миром, – разverzается онтологическая пропасть, могущая быть заполненной лишь в порядке благодати, а не в порядке непосредственного причастия мира Божеству.

По его учению, Бог сотворил мир как совокупность субстанциальных деятелей, способных к творчеству собственной жизни, в рамках дарованной им свыше индивидуальности.

Хотя субстанциальные деятели неспособны к творчеству из Ничего, – это есть прерогатива Господа Бога, – они способны к творчеству в смысле того или иного оформления данного им материала, и в этом смысле каждый субстанциальный деятель – также творец, хотя и с маленькой буквы «т».

С этим связано учение Лосского о *свободе воли*, лучше всего выраженное им в книге одноименного заглавия.

Лосский считает, что свобода есть первозданное свойство каждой личности и, говоря шире, каждого субстанциального деятеля. Субстанциальные деятели первично не обладают раз навсегда данной «природой», – эта природа вырабатывается ими в процессе творчества и приспособления. В этом смысле Лосский утверждает, что субстанциальные деятели обладают «сверхкачественной творческой силой», имея в виду, что они не исчерпываются данными качествами, а могут творить новые.

Развивая эти мысли, Лосский утверждает, что личность свободна: от предопределенности средой, от собственного прошлого и от Господа Бога, поскольку Бог сам сотворил их

свободными. Воздействие Бога на мир может иметь характер благодатной силы, а не естественного принуждения.

Субстанциальные деятели способны к сотрудничеству между собой вплоть до образования сверхиндивидуальных единств (семья, нация, человечество), причем, в силу свободного характера таких единств необязательно утрачивается индивидуальность входящих индивидов.

Лосский везде исходит из позиций персонализма, видящего в личности основное бытие и основную ценность. Это создает возможности также и злоупотребления свободой и объясняет почти неискоренимый эгоцентризм, присущий личности и, при наличии соблазнов, толкающий ее на пути зла. Возможность и слишком частая действительность этих путей хорошо предусмотрена в системе Лосского – а ведь философ должен удовлетворительным образом объяснять как пути добра, так и пути зла. Нечего и говорить, что сама свобода отнюдь не является злом, – она есть величайший дар Божий, которым, однако, нужно научиться пользоваться.

Иначе говоря, совершенная органичность мира существует более в замысле, чем в исполнении, и, наряду с путями развития и творчества, возможны и действительны пути распада и разложения.

В системе Лосского свободе и личности отводятся центральные места, однако без того обожествления свободы, которым страдает, например, современный экзистенциализм. Личность и личная свобода занимают в системе Лосского центральное, но не верховное место, что вполне выдержано в духе персонализма, исходящего из личности, но не сотворяющего себе из нее кумира и ценящего в личности служение сверхличным ценностям.

Соответственно, в своей этике Лосский утверждает теонормную мораль, основывающуюся не на человеческих, относительных, а на божественных, абсолютных ценностях. Но при этом утверждается, что человеческая личность есть основная (хотя и не верховная) ценность, которая не должна рассматриваться как средство для достижения нечеловеческих целей.

Иначе говоря, Лосский утверждает как самоценность человеческой личности, так и ее направленность на высшие ценности морали и религии, без которых сама личность теряет в своей ценности, и в нее вносится порча.

Это, как мне кажется, единственное непреходящее и здоровое основание всякой этики развито им в книге «Условия абсолютного Добра». Этика Лосского – достойное завершение его учения.

Добавим, что в течение последних десяти лет Лосский написал четыре крупных труда: «Достоевский и его христианское миропонимание», «Общедоступное введение в философию», «Характер русского народа» и «История русской философии», вышедшая в пятьдесят первом году по-английски.

Из этих трудов книга о Достоевском пользуется среди читателей особым успехом.

Как всякая оригинальная и последовательная система, учение Лосского не для всех приемлемо. Но как бы ни относиться к его системе, нельзя не признать, что в ней с редкой последовательностью и законченностью проявлено мировоззрение автора. Нужно отметить при этом, что Лосский никогда не довольствуется общим решением философских проблем, а любит сверять свои построения с данными естественных и гуманитарных наук. Конкретность мысли, – даже при поневоле абстрактном ее оформлении, – отличительная черта его мышления.

Мне хочется отметить еще ряд черт, характеризующих Лосского как философа и как человека – честность и трезвость мысли, конкретный подход к проблемам, внимание к эмпирическим деталям, наряду с редкой способностью широкого синтеза; благородную сдержанность, которая отнюдь не тождественна с холодностью, обстоятельность, которая не переходит в увлечение частностями, внимание к другим мыслителям (качество, редкое в философе столь крупного масштаба) и ряд других ценных черт.

Хочется отметить и язык Лосского, к которому уместно применить выражение Шопенгауэра: «блестящая сухость». Стиль Лосского лишен украшений, он всегда прост, строен и прямолинеен. Он не извергает, а медленно растит свои идеи, и эта органичность мышления проявляется у него в спокойной истовости стиля.

Иногда приходится слышать жалобы на «трудность» чтения Лосского. Конечно, настоящая философия – не слишком легкое дело. Часто ссылаются на труды Ницше или Паскаля, как на пример философии, поданной в литературно-увлекательной форме. Но Ницше и Паскаль не занимались гносеологией и выработкой системы метафизики (кроме афористических высказываний в этих областях) – они были чутки ко всем человеческим проблемам и были гениальными психологами.

Философам менее всего следует, конечно, презирать подобных «литературных» мыслителей, – и филистерское презрение к Ницше, распространенное в конце XIX века в академических кругах, основывалось на узости самих «презирателей». Однако, никакой подлинный философ не может ограничиться литературными философами, как бы блестящи они ни были. Он не может обойтись без основательного знакомства с Платоном, Аристотелем, Кантом, Гегелем – и Лосским.

По существу, Лосский значительно доступнее Гегеля, Канта и многих других умозрительных философов. Умозрения Лосского всегда освещаются светом интуиции, как мыслительным фоном. Мысль Лосского всегда ясна, и он имеет смелость мыслить последовательно, а ведь «мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца». Но Лосский требует от читателя известного напряжения умозрительной мысли, к чему способны далеко немногие.

Из отмеченных выше черт Лосского как философа мне хотелось бы подчеркнуть следующие:

Философски-деловой подход к проблемам. В философии также приходится различать между намерениями и осуществ-

лениями. Слишком многие философы «касаются» проблем или заявляют о своей мировоззренческой программе, анализируют те или иные аспекты проблем и так далее. Но у немногих, в том числе у Лосского, есть дар ставить и разрешать проблемы.

Русская мысль склонна к интуитивным методам. И об интуиции у нас писали многие, но никто, до Лосского, не дал подлинного «обоснования интуитивизма».

Трезвость мысли. Аристотель в свое время называл Анаксагора «трезвым между пьяными». Историк русской философии первой половины XX века мог бы, пусть с оговорками, применить эти слова по отношению к Лосскому. Для многих русских философов начала века характерны романтические метания из одной крайности, в другую (исключение, кроме Лосского, здесь составляет Франк), некая замороженность потоком идей. В отличие от этого, Лосский никогда не теряет разумного контроля над философским вдохновением. Он всегда способен видеть обратную сторону медали, в силу чего его мировоззрение остается внутренне сбалансированным.

Сам защищая мистику и возможность мистического опыта, Лосский никогда не оказывается в плену у мистических экстазов, когда дело касается философии. Утверждая наличие сверхрационального начала в бытии (область «металогического»), Лосский философствует о сверхрациональном в высшей степени рационально. Он умеет с рациональной необходимостью доказывать наличие сверхрационального, отчего его доказательства мистического опыта выигрывают в своей убедительности.

Как бы то ни было, лица, прошедшие через искус изучения Лосского, не могут не смотреть по-новому на традиционные проблемы, даже в том случае, если они не становятся его последователями. В частности, в борьбе против материализма книги Лосского дают нам в руки неоценимое оружие, которым, конечно, нужно научиться пользоваться.

Философия Лосского способна удовлетворить не только запросы ума, но и искания человеческого сердца.

В самом облике Лосского есть нечто сократическое. Общение с ним всегда доставляет высокое духовное наслаждение.

Если русской философии суждено будет возродиться после плена у мертвящей схоластики диамата, то именно Лосский явится одной из главных путеводных звезд этой новой чаемой русской философии.

Николай Онуфриевич Лосский родился 6 декабря 1870 года в местечке Креславке Витебской губернии. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском университете на естественно-научном отделении физико-математического факультета и на историко-филологическом факультете.

В 1903 году получил степень магистра философии за диссертацию «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»; степень доктора философии – в 1907 году за диссертацию «Обоснование интуитивизма».

Лосский был профессором философии на Бестужевских Высших женских курсах и в Санкт-Петербургском университете. В 1922 году советское правительство выслало из России сто двадцать ученых, писателей и общественных деятелей как лиц, не принявших марксистской идеологии. В их числе был выслан и Лосский.

До 1942 года он жил в Праге, был профессором в Русском университете. В 1942 году, после превращения Словакии в самостоятельное государство, был приглашен в Братиславу профессором философии. В 1945 году переехал в Париж, в 1946 году – в США к младшему сыну Андрею. В 1947–1950 годах был профессором философии в Св. Владимирской духовной академии в Нью-Йорке, затем вместе с сыном переехал в Лос-Анжелес.

Главные труды Лосского, кроме двух упомянутых диссертаций: «Мир как органическое целое», 1917; «Логика», Берлин, 1923; «Свобода воли», Париж, 1927; «Ценность и бытие», 1931; «Типы мировоззрений», 1931; «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938; «Бог и мировое зло», 1941; «Условия абсолютного добра», 1949; «Достоевский и его христианское миропонимание», 1953; «Общедоступное введение в философию», 1956; «Характер русского народа», 1957; «History of Russian Philosophy», 1951.

Елена Котова

Как я спасла Коломенское*

Это было накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в восемьдесят пятом году.

Москва, столица мира, сгибаясь под тяжестью этого титула, подобного незаслуженному наказанию, готовилась к очередной экзекуции. Казалось, совсем недавно, всего пять лет назад, прогремели последние залпы орудий на стадионе в Лужниках во время Олимпиады, и только-только стали заживать раны на старом теле города, как опять предстояло ему принять на себя огонь оголтелой молодежи.

Древняя столица России! Как много ты отражала атак и нападений на протяжении всей истории существования своего; но, наверно, никто из живших когда-либо в Москве не мог себе представить, что в XX веке, в период бурного расцвета цивилизации, в период почти развитого социализма, может произойти второе нашествие «татаро-монголов». От этого нашествия никто не был в состоянии спасти город, – единственное, что утешало – это то, что долголетнего ига чужестранцев не предвиделось, хватало своего, постоянного.

В то время я работала главным архитектором проектов в институте «Моспроект-3», в мастерской, где выполняли проекты реставрации памятников архитектуры Москвы и Подмосковья – старинных усадеб и парков – Останкино,

* Из архива ж. «Грани». Печатается впервые.

Кусково, Царицыно, Кузьминки, Лефортово, Воронцово, Коломенское.

Это были объекты, над которыми работала я и моя бригада в течение многих лет. Все они были хронически больны забвением, и если удавалось «пробить» какой-нибудь проект реставрации в недоступных стенах советских строительных организациях и банках, у которых никогда для этой статьи бюджета не хватало «лимитов», то кое-что в обрезанном, испорченном экспертизами и прочими нахлебниками, иногда до неузнаваемости, виде, появлялось на измученной строителями земле, которую потом приходилось буквально зализывать авторам проекта и энтузиастам-любителям.

Одним из таких счастливых объектов было Коломенское – жемчужина земли Московской, памятник архитектуры и истории XVII века. Каждому русскому знакомо это название – оно связано с именами царей Алексея Михайловича и Петра I, со всей историей Москвы, начиная с незапамятных времен, а Дьяково Городище, лежащее близ Государева Двора, помнит еще доисторические времена.

Сейчас там ведут раскопки археологи и находят предметы быта начала новой эры. Здесь оставили свои следы лошади татарских орд – в лугах Коломенского растут травы, семена которых были занесены и втоптыны их копытами.

Богатейший породный состав деревьев и кустарников, трав и цветов, фруктовые сады, которые берут свое начало со времен царей, даже сейчас удивляют ботаников.

Церковь Вознесения, шатровый купол которой, пожалуй, единственный, оставшийся неразрушенным, виден далеко за Москвой-рекой; Дьяковская церковь, которая своим изяществом покоряет сердце; Передние Ворота, которые помнят послов заморских, приплывавших плотами по Москве-реке; Государев Овраг, живописнейший оазис, с его источником «живой воды; высокий берег Москва-реки с пластами каменных древних пород; а тихий и далекий правый берег и вдаль виднеющаяся Перерва, – да разве можно перечислить все, что есть Коломенское...

Я полюбила его, как больного ребенка, когда впервые пришла сюда и увидела, в каком состоянии находилось это бывшее сердце Московской земли. Сплошной разор и забвение. Деревни Дьяково, Садовники, Коломенское, существовавшие еще при царе Алексее Михайловиче, доживали свои последние дни в страшной агонии запустения и нищеты – там еще копошились люди, жившие в старых полуразрушенных деревянных домишках.

Все они казались мне выходцами с того света – с их измученными серыми лицами, в темных, грязных одеждах, – это было странно видеть, потому что совсем рядом существовала Большая Москва – огромный жилой район Нагатино с высокими домами, а с другой стороны, у станции метро «Варшавская» – знаменитый онкологический центр, страшный серый гигант, подавляющий своей громоздкостью и значением.

Решение создать исторический заповедник «Коломенское» созревало много лет в кабинетах Московского архитектурно-планировочного Управления и Моссовета, оно рождалось в муках – система охраны памятников архитектуры в Советском Союзе – самая зависимая от настроений в верхах, и бесправная.

И когда, наконец, родилось это решение, выполнить его оказалось невозможно. Кстати, множество решений Моссовета не выполняются как абсолютно нереальные.

Причин было много – слишком большая площадь в центре района, среди окружающей жилой застройки, слишком большая протяженность ограды, на металл которой нужно получать разрешение Госстроя Союза, а это почти невозможно, так как металла в стране мало; слишком большая реставрация деревень, дома которых представляют собой историческую ценность, неразрешимая проблема эксплуатации деревень. Союз художников предложил взять это на себя, организовать мастерские в отреставрированных домах и продать их членам Московской организации Союза художников, но Моссовет испугался этой идеи – создавать общество «ленд-лордов» у себя под боком – Боже упаси!

Стоимость реставрационных работ и создание заповедника оказалась слишком высокой, и решение осталось только на бумаге, красивой фирменной бумаге с печатями и подписями сильных мира сего. А все могло решиться очень просто – нужно было только не побояться отдать это дело на откуп художникам и скульпторам, и нашлись бы сразу и деньги, и средства, и силы.

Но тем не менее проект реставрации и создания исторического заповедника нам был заказан, и мы его выполняли в течении десяти лет. По мере готовности отдельных частей проекта, с большими трудностями удавалось кое-что воплощать в жизнь – это были крохи, но все же лучше, чем ничего, потому что Коломенское разрушалось на глазах.

В деревнях вспыхивали пожары и дома горели каждую ночь – их поджигали сами жители деревень, узнавшие, что их все равно будут выселять и давать квартиры в больших домах. Так сгорели все деревянные дома, которые мы хотели сохранить как ценнейший исторический материал.

На местах пожарищ стихийно стала возникать и увеличиваться с ужасающей быстротой городская свалка мусора. Высокий берег реки под церковью Вознесения угрожал оползнем, а Государев Овраг держался корнями неизлечимо больных вязов – голландская болезнь съедает все вязы Москвы.

На низком берегу реки создали огромную станцию очистки канализационных стоков всей Москвы, по территории Коломенского уже проектировалась прокладка третьего транспортного кольца – скоростной магистрали в непосредственной близости от памятников архитектуры.

Западный читатель этому не удивится – ведь рядом с Кельнским Собором – железнодорожный вокзал, ну и что! – но к Коломенскому эти мерки неприменимы – это истинно русский памятник, с размахом окружающего простора, с русской широтой тихих далей и ландшафтов, это – XVII век России!

Коломенское нужно было спасать. Это понимали все образованные люди Москвы, и множество писем было послано

в правительственные органы с просьбой что-то начать делать в Коломенском, не дать ему погибнуть окончательно.

Под нажимом больших авторитетов и с большим скрипом Моссовет стал выделять небольшие средства на реставрацию. И постепенно, с огромными трудностями, очень медленно, стали проводиться реставрационные работы. Нужно было иметь большое терпение и выносливость, чтобы воплощать наши проекты в жизнь, нужно было пройти через все круги ада – всевозможные экспертизы и согласования – их было около тридцати, утверждения проекта во всех вышестоящих инстанциях, а их в Москве неисчислимое количество.

За десять лет были почти что закончены работы по реставрации церкви Вознесения, Передних и Задних Ворот и некоторых строений на территории Государева Двора. Был укреплен высокий берег реки, проведено благоустройство Государева Двора, проложены подземные коммуникации, построено фондохранилище для музейных ценностей. Постепенно Коломенское преображалось, мы выхаживали его как тяжело больного. Правда, работы проводились только в Государевом Дворе, а он составляет всего только одну десятую территории, но это было начало, это была уже почти победа.

Запретили городскую свалку и постепенно очистили территорию от мусора, решение о прокладке третьего транспортного кольца отложили на неопределенное время, расчистили пожарища и переселили жителей деревень, засеяли газоны, посадили деревья, кустарники, проложили пешеходные дорожки. И Коломенское уже начало встречать иностранных гостей, которые с большим интересом взирали на старое, русское, настоящее, как вдруг...

Однажды вечером, в начале апреля, тревожный звонок телефона оторвал меня от книги – прекрасного альбома Бакста, который я часто любила смотреть. Звонил мой друг, архитектор, работавший в системе охраны памятников архитектуры. Он срывающимся голосом сообщил мне, что назавтра назначено совещание по вопросу проведения Фестиваля молодежи на площадях и в парках города и ... в том числе, в Коломенском.

У меня остановилось сердце. Я представила себе эту стихийную толпу молодых, здоровых телом, пустоголовых акселератов на хрупких, изысканных дорожках усадьбы, выложенных нашими руками. При создании музея мы настояли на том, чтобы посещение его осуществлялось туристами только небольшими группами, обязательно с гидами, по специально проложенному маршруту. В Коломенском существует дубовая роща, возраст которой около трехсот лет, а дубы – это самые капризные, плохо реагирующие на антропогенную нагрузку деревья, несмотря на их могучие стволы; в Коломенское свезены старинные деревянные постройки из средне-русской полосы, деревянный домик Петра I, на оползневом склоне у церкви Вознесения, на которую мы боялись дышать, проложены маленькие тропинки, по ним можно ходить только по одному. И все это – под Фестиваль?

Ночью мне приснился хан Батый. А наутро было совещание в Комитете по организации Фестиваля при Центральном комитете комсомола, которому было поручено его проведение.

Когда-то, в молодости, я тоже была комсомолкой, и даже активной – в культурно-массовом секторе, но то были другие времена, мы еще во что-то верили и жили, не особенно задумываясь о наших судьбах. Мы многого не знали, от знаний мировых проблем нас надежно охранял тяжелый железный занавес, мы были за кулисами, мы были молоды!

И вот я встретилась с сегодняшними комсомольцами, вожаками. Это были настоящие вожаки, как в волчьей стае, сильные молодые волки, самонадеянные, самовлюбленные функционеры, которым все дозволено под крылышком ЦК партии – это ее смена, ее будущее. В России молодежь, в большинстве своем, наделена комплексами неполноценности, обусловленной множеством причин психологического характера, поэтому молодые люди, особенно в провинции, стесняются, часто краснеют при общении с высоким начальством, ведут себя скованно, не могут свободно высказывать свои мысли.

Но не такие их вожаки в Центральном аппарате – эти знают себе цену, их будущая карьера обеспечена – и это дает им

силу и власть и диктует поведение их в обществе. Они весьма раскованны, для них не существует авторитетов, кроме, конечно, их шефов.

На совещании присутствовали члены ЦК партии, Моссовета, заместитель министра культуры СССР, представители органов и ... я. До этого я успела переговорить с главным архитектором Москвы Макаревичем и его заместителем Нестеровым, они мне сказали: «Держись, за тобой – Москва. Не позволяй комсомольцам приблизиться и на километр к Коломенскому, защищай свое детище. Мы все – за тобой, за твоей спиной, поддержим. Нам неудобно лезть в драку с Министерством культуры, а тебе терять нечего».

Воодушевленная этим разговором, я решила бороться до последнего, тем более, что терять мне было, действительно, нечего.

Об Архитектурном управлении комсомольцы и их шефы вспомнили лишь тогда, когда все-таки понадобилось согласовать проведение праздника с органами охраны памятников, согласно Государственному закону СССР.

Вот тут-то я и почувствовала, что если не встану грудью против этих невежд, то вся наша работа пойдет прахом, а мои шефы уйдут в тень, в кусты – дело в том, что к этому времени, оказывается, было уже подписано правительством решение о проведении Дня фольклорного искусства в Коломенском во время Фестиваля и даже подписано соглашение с иностранными государствами о прямой трансляции праздника по телевидению, конечно, за валюту. А о нас вспомнили, так сказать, постольку-поскольку, – мол, нужно все-таки формально согласовать.

Мои шефы долго ломали голову, как лучше, дипломатичнее решить эту проблему, чтобы овцы были целы и волки сыты. Не хотелось им терять насиженные теплые кресла и тяжелые портфели. И они решили послать меня на бой, на убой. Зная мой бешеный характер и каменную твердость в деле, полученную в борьбе с ними же, они мало чем рисковали. Все мои шефы – здоровенные мужчины, и мне показалось

забавным, как они все спрячутся за моей неширокой спиной. В то же время было интересно испытать свою силу в борьбе против могущественных столпов. И грянул бой...

Я узнала, что место для проведения фольклорного праздника было предложено выбрать Игорю Моисееву, руководителю знаменитого танцевального ансамбля русского танца. Он объездил всю Москву и остановил свой взгляд на Коломенском – оно, действительно, останавливает взгляды.

Человек энергичный, он круто взялся за дело, написал сценарий проведения праздника с пышностью, размахом, с широтой русского характера, с многочисленными участниками, тройками лошадей, массовыми танцами и плясками на громадных эстрадах и сценических площадках ... рядом с церковью Вознесения.

Игорь Моисеев – талантливый человек в своем деле, но такой же невежда в знании прочих наук, как и его шефы, работники Министерства культуры.

Да и много ли можно требовать от них, если даже заместитель министра культуры Голубкова, женщина весьма представительная по своим габаритам, в прошлом была работницей системы вторсырья.

В Советском Союзе такие явления, такие «болезни роста», когда малограмотные люди становятся большими боссами, благодаря красной партийной книжке и неразборчивому характеру, довольно типичны. Но если босс умный, то при нем всегда специалисты, которых он слушает.

Беда в том, что советские боссы в большинстве своем считают себя умнее всех и их болезненное чувство гордости, за которым прячется неуверенность в завтрашнем дне, не дает им возможности слушать просвещенное мнение других. Это гиперболическое «всезнание» наделало немало бед в стране.

Когда архитекторы шутили сквозь слезы, что вся архитектура Москвы – в руках «главного архитектора города» Гришина, бывшего секретаря Московского комитета партии, и его приспешника Промыслова, бывшего председателя Мос-

совета, не ведающих, что такое архитектура, и имевших образование ниже среднего, то всем было не до смеха – Москва была непоправимо испорчена, благодаря их «стараниям».

Но это – целая «история архитектуры», о которой в этом коротком рассказе я говорить не буду.

Вернусь к Моисееву. Он с блеском согласовал и утвердил свой сценарий в Министерстве культуры и укатил на гастроль в Италию, оставив вместо себя своего заместителя – режиссера Московского цирка, женщину весьма решительную и недалекую.

Кстати говоря, Моисеев в Союзе бывает редко, он трудится в основном за границей по добыванию валюты, приносит немалый доход государству, поэтому с ним считаются.

Переговорить с ним об изменении сценария не было никакой возможности – он был недостижим в далекой Италии и вернуться должен только накануне Фестиваля. С женщиной из цирка говорить было совершенно бесполезно – она размахивала бумагой с подписью министра.

На совещании меня попросили, очень вежливо, ознакомиться с проектом праздника, с режиссурой и макетом, который выполнялся группой художников в городе Львове, на Украине, и согласовать проект.

Я была удивлена выбором города, потому что фольклорные мотивы Западной Украины совершенно отличаются от среднерусских, московских. На мое главное возражение против проведения праздника в Коломенском мне было заявлено, что «поезд уже ушел, валюта получена, решение подписано правительством».

Я слишком маленький человек, чтобы идти против правительства, но тем не менее решила найти какое-нибудь решение, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. С этими людьми на совещании дискутировать было бесполезно, и я полетела во Львов.

Конечно, в мастерской художников у меня случился шок при первом взгляде на макет. Эти славные ребята получили заказ на работу потому, что они уже подготовили несколько

подобных праздников в стране и были отмечены наградами. Они были счастливы, так как сидели без денег, как большинство художников в России.

Представления об архитектуре Коломенского, о его истории, о понятии охраны памятника, об увязке оформления фольклорного праздника с общим обликом памятника, о возможностях его территории, об опасностях рельефа, об угрозе церкви Вознесения – они не имели ни малейшего.

Но макет был готов, пестрые сочные краски, ленты, флаги и стяги, так характерные для Западной Украины, мелькали у меня в глазах до рези. С гордостью мне все показывали, а я, онемевшая от ужаса, не могла произнести ни слова.

Когда я, наконец, пришла в себя, то попросила разрешения позвонить в Москву, но оказалось, что телефона не было во всех мастерских. К слову сказать, когда в горсовете Львова узнали, что приехал какой-то «большой человек из Москвы», на следующий же день бедным художникам поставили телефон, который они ждали много лет.

Тактично и доброжелательно я начала критиковать их работу, рассказав им историю Коломенского, законы архитектурного ансамбля, особенности русской архитектуры. Для них это была интересная лекция по ликбезу.

Но они так яростно защищали свои права, беспокоясь за судьбу их работы, которую они выполняли несколько месяцев, что я решила не брать только на себя решение все переделать. Позвонила в Москву и попросила созвать большой Совет с обязательным присутствием всех ответственных лиц.

Был уже конец апреля, а Фестиваль начинался в конце июля – времени в обрез. Нам выделили самолет, макет в огромных ящиках был доставлен в Москву, за ночь художники его смонтировали в зале Министерства культуры. Наутро было созвано большое совещание.

Это был парад лицемерия. Все восхищались макетом, никто из архитекторов не хотел сказать правду в глаза заместителям министра, которые похвалили работу. Правда, начальник Государственной инспекции по охране памятни-

ков архитектуры Савин пытался деликатно объяснить, что праздник в Коломенском «нежелателен», так как это памятник уникальный и так далее и тому прочее.

Тут мой профессиональный долг не дал мне смолчать. Я произнесла громовую речь, бросилась как тигрица на защиту своего дитяти. «Уважаемые товарищи! (Так принято начинать все речи в стране, хотя в ней никто никого не уважает). Здесь собрались люди, которые должны охранять историю страны и донести ее до потомков хотя бы в том искаленном виде, какой она осталась после многих катаклизмов. Коломенское, по счастливой случайности, осталось почти не разрушенным, более того, оно только что *вышло из-под* реставрации, а вы хотите за один день уничтожить все. Правда, вы не увидите плоды своего решения, так как разрушение будет происходить медленно – оползневой склон вместе с церковью Вознесения, после тяжелейшей нагрузки многих тысяч пляшущих людей будет постепенно разрушаться, Государев Овраг постепенно оползать, дубы постепенно засыхать, – но Ваши дети и внуки уже могут не увидеть Коломенского. Валюта оказалась для страны важнее всех культурных ценностей».

Мне было сказано, что поздно об этом сейчас говорить, что «поезд ушел». А раньше-то почему никому в голову не пришло посоветоваться со специалистами? Почему стало принято не считаться с органами охраны памятников, почему игнорируют мнение знающих людей, болеющих за свое дело, желающих спасти остатки истории народа.

По проекту Моисеева пятнадцать тысяч человек будут плясать под церковью Вознесения на огромной пятиступенчатой эстраде с гигантской Катюшей наверху, и гостей иностранных несколько тысяч. Да это хуже нашествия «татарской Орды».

Я объяснила все опасности рельефа, представила официальное заключение оползневой станции, рассказала обо всех трудностях реставрации, через которые мы прошли за эти годы.

Казалось, они были обескуражены таким потоком информации. Голубкова, в некотором замешательстве, спросила: «А

что же теперь делать? Найдите хоть какое-нибудь конструктивное решение». Я попросила пару дней на обдумывание.

Два дня мы сидели, не разгибаясь, придумывая, как выйти из этого опасного положения. Решение пришло на месте – в Коломенском, по которому мы уныло бродили несколько часов. Большую эстраду перенести вниз, подальше от церкви и проложить к ней дорогу; ярмарку устроить рядом, чтобы оттянуть массы народа от Государева Двора; Город Мастеров, в котором предлагалось представителям всех пятнадцати советских республик в присутствии гостей производить и продавать характерные для них ремесленные изделия и который Моисеев удобно расположил под старыми дубами, перенести из дубравы к стене; эстрады для народных танцев всех стран мира отодвинуть от склона оврага во избежание опасных инцидентов, маршруты проложить так, чтобы не причинить вреда памятникам и ... сократить число участников праздника вдвое.

Мы ждали следующего совещания со страхом. Как посмотрят на наши весьма «конструктивные» предложения наши высокие бонзы, ведающие культурой, но не ведающие культуры.

И вот я уже на трибуне, до этого приняв пару успокоительных таблеток. Голос мой спокоен, убедителен. Все слушают внимательно, но с сомнением и с некоторым опасением. Но после моего бурного первого выступления кое-что дошло до ума некоторых начальников, и они призадумались и засомневались. Мои предложения, которые были согласованы с архитектурными органами, заставили их отойти от стереотипа их представлений. Позвонили Моисееву в Италию, он был в бешенстве и, как мне потом рассказывали очевидцы, «они очень ругались матом по международному телефону».

Но делать было нечего, шефы-архитекторы, почувствовав слабину в Министерстве культуры, стали уверенней и настойчивей, очевидно, их вдохновила моя храбрость. А я, почувствовав их уже не столь робкую поддержку, стала требовать, чтобы все работы по строительству и устройству эстрад и прочих сооружений на территории Государева Двора проводились вручную. Заявила, что не пущу ни одну тяже-

лую машину и строительные краны, которые могут повредить дорогам и зеленым насаждениям.

Это заявление подействовало как бомба на строителей, – но когда я потребовала сокращение вдвое числа участников и гостей – это уже было похоже на извержение Везувия. Масса хлопотала от возмущения.

Один лишь представитель определенных органов был совершенно спокоен – он предложил простое решение: раз нельзя, так нельзя, – значит будут только иностранные гости, а советские люди смогут посмотреть праздник и по телевизору. А для этого нужно оградить территорию от возможности проникновения «лишних» советских людей. Забор, конечно, не поставишь – будет видно по телевизору, а кордон из милиционеров, одетых в национальные костюмы, будет не так заметен.

Это было смешно, если бы не было так грустно. Страсти постепенно стали затухать, особенно после того, как я сказала, что решение перенести большую эстраду вниз продиктовано интересами Москвы не только в вопросе охраны памятника. Когда операторы телевидения будут проводить передачу, то они поставят свои аппараты внизу, и Коломенское окажется на пьедестале, как ему и положено быть. В противном случае, если бы эстрада была наверху, зрители по телевизору увидали бы за Москвой-рекой весьма обширную станцию аэрации, – очистные сооружения канализации, а прелесть памятника при съемке на уровне глаз была бы незаметна за пышной яркостью красок Фестиваля.

Это прозвучало довольно убедительно для всех присутствовавших. К концу дня все более или менее утряслось. Осталось решить одно – как успеть все сделать к началу праздника.

Целую неделю каждый день строители ломали головы. Это была нелегкая задача – все строительные организации Москвы настолько не гибки, что сделать что-либо нестандартное почти невозможно. Но дело было международного масштаба, а уж тут пускать пыль в глаза мы умеем. Страна была призвана работать только на Фестиваль – нам дали везде зеленый свет. Зеленый свет дали, но забыли закрыть красный, – мы

пробивались сквозь неприступные стены невозможностей – не было материалов, какие требовались нам, не было механизмов, не было квалифицированной рабочей силы, не было кабеля, металла, дерева, красок. Нам пришлось переделывать весь проект, разработанный во Львове, под хилые возможности московских строительных организаций, чего и можно было ожидать.

Каждый день проводились «оперативки» в Главном управлении капитального строительства Москвы. Участники совещаний выходили из кабинета с красными лицами и принимали валидол. Вел эти совещания страшный «хозяин» Москвы – Антонов, грубиян, стилем разговора которого был только крик и презрительные издевки. Кстати, таков стиль почти у всех строительных советских начальников.

Страсти кипели, как в котлах ада. Много было шума, а дело двигалось медленно. Каждый день я ездила в Коломенское и своей грудью отражала нападения строительных кранов и машин, подобных пришельцам из других миров из романа Уэллса «Борьба миров». Я была одна против целого мира строителей, которые осыпали меня потоками ругани, но все-таки ни одна машина не проехала по дорожкам Коломенского. Им пришлось-таки создать строительный отряд студентов, которые на руках перенесли все конструкции эстрад и собрали все сооружения на месте.

Забывала пообедать, по ночам мне снились кошмары, но стойко держалась. Когда просила помощи в Инспекции по охране памятников, они так вяло отнекивались, так редко появлялись на месте строительства, очевидно из-за сознания их бесправности, что мне пришлось одной быть защитницей этого уникального памятника. Это не мания величия, это правда.

И когда уже все было построено, покрашено, припудрено, приглажено, – я сломалась. Наступила реакция безразличия. Мне стало обидно – как же так получается, что в стране, где столько умных образованных людей, всем все равно – бесполезность борьбы за свои права, за свои убеждения, за истину сделали этих людей безразличными. А безразличие, равнодушие порождает снежную лавину катастроф. И тогда бывает поздно...

Коротко об авторах

Б а с о в а Ирина Борисовна. Родилась в Ленинграде.

Выросла в Крыму, в Москве окончила биологический факультет университета.

В 1980 году вместе с мужем и детьми эмигрировала из СССР во Францию.

С 1982 по 1992 год работала редактором и состояла членом редколлегии газеты «Русская мысль» (Париж).

Ее стихи в разные годы были напечатаны в журналах «Нева», «Неман», «Грани», в альманахе «День поэзии». Автор двух поэтических сборников, вышедших в Санкт-Петербурге в 1994 и в 2003 годах, и книги «Римский дивертисмент», изданной в Вероне (Италия).

Как журналист и эссеист публикуется во французской и русской периодической печати.

Дочь русского поэта Бориса Корнилова, погибшего в сталинских застенках.

Живет в Париже.

Б о т е в а Валентина Юрьевна родилась и живет в Донецке (Украина).

Окончила химико-технологический институт.

Стихи пишет с юности, живописью занимается с самого детства.

Почти не имеет публикаций. Лишь несколько стихотворений напечатаны в журнале «Континент» по представлению поэта Инны Лиснянской.

В ГРАНЯХ были опубликованы поэтические циклы: «И снова за разлукой встреча» (№ 180), «Обочин горькую полынь...» (№ 191),

«Ход времени – всего лишь дней уход (№ 210), «...Были избы соломой крыты...» (№ 211), «Слепец и посох» (№ 217).

В а с и л ь е в Глеб Казимирович родился в Коломне в 1923 году. Мать – Наталья Аркадьевна – урожденная Вяземская. Отец – поляк из древнего рода Арцышевских.

Сдав экстерном выпускные экзамены, поступил в 1939 году на физический факультет Московского государственного университета, откуда, в связи с эвакуацией, перешел в 1942 году в Московский станкоинструментальный институт.

Осенью 1945 года на пятом курсе был осужден по статье 58 «за антисоветскую пропаганду» и отправлен по этапу в Северо-Печерский лагерь, на, так называемую, «стройку 503-ю». После пятилетнего отбытия срока, имел «поражение в правах» и в течение трех лет работал слесарем в Южном Казахстане, одновременно сотрудничая в вычислительном центре Алма-Атинской обсерватории.

В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Москву.

Автор публикаций в ГРАНЯХ №№ 181, 182, 184, 189, 191, 219, 224: «Неужели все это было правдой?», «Встречи с Ю. А. Казарновским», «История Тифлисского альбома Николая Гумилева», «Проза, насыщенная электричеством памяти», «Земля обетованная», «Встречи с Анастасией Цветаевой», «Никки».

Ж и л к и н а Татьяна Александровна родилась в Иркутске.

Профессиональный литератор и журналист.

Окончила филологическое отделение историко-филологического факультета Иркутского университета, сотрудничала в газетах и журналах Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. В семидесятые годы жила на Украине, работала в литературном журнале «Радуга» (Киев). В начале восьмидесятых «отвечала» за поэзию в только что созданном журнале «Литературная учеба» (Москва).

Среди опубликованных материалов Т. Ж. – литературные эссе, документальные рассказы и очерки о наших современниках-писателях Вениамине Каверине, Александре Вампилове, Валентине Распутине, Константине Симонове, Генеральном авиаконструкторе Олеге Антонове, летчике-испытателе Марине Попович, музыканте Мстиславе Ростроповиче, – всех тех, с кем на жизненных дорогах свела ее судьба.

В 1992 году вернулся на родину из Франкфурта-на-Майне (Германия) журнал литературы и искусства, науки и общественной мысли «Грани» (изд-во «Посев»), который считал своим долгом восстановление в России традиций русской классической литературы. В тот же год она связывает с ним свою творческую судьбу.

В ГРАНЯХ опубликованы ее материалы: «Письмо писателю Борису Зайцеву в 1922 год» (№ 166) «Тридцать дней февраля» (№ 168); литературное эссе о В.Д. Набокове «Из небытия» (№ 170); «Встреча и прощание с адъютантом Верховного Правителя» (№ 175); публикации «Фамильной Хроники» Карамзиных (№№ 185–188, 196, 197) и другие.

Автор книги «Стояние в Истине» (2005 г.).

Живет в Москве.

С 1997 года – издатель и главный редактор журнала ГРАНИ.

З о р и н Александр Иванович родился в Москве в 1941 году.

Автор семи поэтических книг, мемуарной книги «Ангел-чернорабочий» (1993, 2004) об отце Александре Мене и литературных эссе о русских поэтах в сборнике «Выход из лабиринта», которые печатались в «Дружбе народов», «Континенте» и других отечественных и зарубежных изданиях.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ в № 187 был опубликован поэтический цикл «...Мы с тобой заложники мира сего», в № 210 воспоминания о писателе Борисе Крячко «Нестандартная фигура», в № 217 литературное эссе «Портрет поэта под созвездием Большого Пса», в № 220 «Художник и модель. Владимир Набоков», в № 228 «Смута и ясность болдинской осени», «Не расставаясь с Есениным».

Л о с с к а я Вероника Константиновна родилась в Париже, потомок русских первой эмиграции.

Образование получила в Париже, в русской гимназии и в Лицее, высшее в Сорбонне и в Оксфорде (Англия).

Специализировалась по русской литературе, классической и современной. Профессор emeritus Парижского университета Сорбонны, преподавала русский язык и литературу по специальности. Большую часть своих трудов посвятила Марине Цветаевой.

Автор монографий о Цветаевой и Ахматовой, а также статей и других произведений о русской эмиграции, о месте женщины в Православной церкви и так далее.

Замужем за богословом Николаем Владимировичем Лосским, четверо детей.

В настоящее время проживает в Париже (Франция), работает над новыми переводами Цветаевой и статьями о ней, а также над словарем Русской Эмиграции во Франции в XX веке.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Н и к и т и н а Галина Яковлевна родилась в городе Орле. Закончила Московский институт сельскохозяйственного производства.

Кандидат технических наук.

Последние годы вместе с мужем Г. Васильевым работает над литературным наследием А. И. Цветаевой.

Г. Я. Никитина и Г. К. Васильев – составители и редакторы трехтомного сборника автографов Анастасии Цветаевой и сборников воспоминаний, участники конференций, посвященных творчеству сестер Цветаевых.

Живет в Москве.

О публикациях в ГРАНЯХ см. выше: В а с и л ь е в Г. К.

Н и к о л а е в Владимир Дмитриевич (1925–2008) родился в Москве.

В 1941–1946 годах служил в Военно-Морском Флоте.

Окончил факультет журналистики Московского университета.

Корреспондентом журнала «Огонек» объездил полмира, несколько раз путешествовал по Соединенным Штатам Америки.

Автор трех десятков публицистических книг, из них – двадцать две об американцах и их повседневной жизни.

Его книга «Американцы» дважды выходила в издательстве «Советский писатель», переведена на несколько языков, в том числе на английский.

В 2002 году вышла книга В. Н. «Сталин, Гитлер и мы». В ней говорится о некоем мистическом родстве между диктаторами. В 2005 году издательство «Терра» выпустило эту книгу со значительными дополнениями.

В 2007 году в издательстве ЭНАС вышла итоговая книга В. Н. «Красное самоубийство».

В ГРАНЯХ (№ 217) опубликована его рецензия «Любовь и память» на книгу А.М.Славуцкой «Всё, что было...». В №№ 225, 226 – документальная повесть «Сталинский лицей», в № 227 – «Война» и в № 228 «Открытие Америки».

Р у б и н Илья Давидович (1941–1977).

Родился и жил в Москве. Учился в Московском институте тонкой химической технологии, в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева, затем – на филологическом факультете МГУ.

Главный редактор самиздатовского журнала «Евреи в СССР», выходившего в начале семидесятых.

Вынужден был эмигрировать. С 1976 года жил в Израиле. Там посмертно вышла книга его стихотворений и статей «Оглянись в слезах».

Произведения публиковались в журналах «Огонек» и «Со-гласие».

В ГРАНЯХ в № 221 опубликован его поэтический цикл «Исчезла горечь памяти моей», в № 222 литературное эссе «Кто был никем...», в № 225 поэма «Революция» и в № 226 «К постановке вопроса о природе антисемитизма».

Э й с н е р Владимир Иванович родился в 1947 году в селе Ново-Александровка Москаленского района Омской области. Закончил Исиль-Кульское педучилище и пединститут иностранных языков в г. Пятигорске Ставропольского края.

Работал учителем, монтажником, метеорологом на мысе Челюскина, охотником-промысловиком на о. Диксон, сопровождал иностранные экспедиции на Северный полюс, участвовал в раскопках мамонта на Таймыре.

Рассказы и очерки публиковались в журналах «Сибирский промысел», «Северное Сияние», «День и Ночь», «Феникс», «Крещатик», «Дальний Восток», «Северные Просторы», «Охота и охотничье хозяйство» и в других.

Лауреат премии им. Ю. Рытхэу.

С 2002 года живет в Германии.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

*Читайте
в следующем номере:*

Вячеслав ЗАВАЛИШИН
Александр Блок и русская революция

Владимир НИКОЛАЕВ
Тайны придворной летописи.
Уникальное издание – «Огонек»

Ирина БАСОВА
«...И символы неясные любви»

Илья РУБИН
Черновик романа

и другие материалы

Ваша еженедельная газета

Издается в Европе с 1947 года.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

LA PENSEE RUSSE

**Самая популярная газета
русскоязычной диаспоры**

Хроника и анализ российской политики и экономики

Взгляд с Запада на события в России

Литература и мемуары, книжное обозрение

Культура, история

Жизнь русского зарубежья

Генеральный директор: Андрей Гульцев.
Глава редакционного совета: Виктор Лупан.
e-mail: presse.libre@wanadoo.fr
annonces@rusmysl.com

Подписка по телефону: +33 1 42 33 51 85

+33 1 42 33 51 86 (факс)

или

www.rusmysl.com



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ВТОРОЙ ВЫПУСК

Составители:

Николай Панченко и Нина Бялосинская

Редакционная коллегия:

Н. Бялосинская, В. Корнилов, Р. Левита, В. Медведев, В. Миляев,
И. Минутко, Б. Окуджава, Н. Панченко, Ф. Поленов, В. Фогельсон

СОРОК ДВА ГОДА СПУСТЯ

Дорогие читатели!

Выпуск в 1961 году альманаха «Тарусские страницы» стал событием в литературной и общественной жизни России.

Купить его оказалось практически невозможно, тираж исчез в мгновение ока и уже стал библиографической редкостью.

Второй выпуск «Тарусских страниц» вышел через сорок два года после Первого. Он наследует главный принцип «Тарусских страниц» – открывать таланты. В альманахе представлено и русское Зарубежье, а также материалы из архива, эпистолярное наследие, мемуары. Книга была собрана в 1990 году, но и сегодня, в начале XXI века, она не менее актуальна.

Двенадцать лет редколлегия «Тарусских страниц» тщетно боролась с напором капитализации книжного рынка за выход книги к читателю. И вот она вышла. Исключительная заслуга в этом русского литературного журнала «Грани». Второй выпуск счастливо повторил судьбу Первого – он был раскуплен мгновенно.

Заканчивается работа и над Третьим выпуском «Тарусских страниц».

По всем вопросам обращаться в редакцию журнала «Грани»
по адресу электронной почты:
grani.08@mail.ru
wickuz@orexovo.net

Редакция журнала «Грани»

ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров – порой с риском для жизни тех, кто это делал, – пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои – увы! – часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ – знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2009 году от Р.Х.

За 2008 год вышли №№ 225, 226, 227 и 228, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER–SUR–MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru
wickuz@orexovo.net**

Принимаем заявки на подписку 2009 и 2010 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n w751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Оригинал-макет – Елены Метченко

Подписано в печать 10.07.08. Формат 84 × 108 ¹/₃₂.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 30. Уч.-изд. л. 10.

Тираж 750. Заказ № 115.

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».

Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.

Тел.: 936-83-28.

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ - 2009.
№229, №230, №231 и №232**

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ T. Jilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА K. Troosh
600 Fifth Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.

Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.

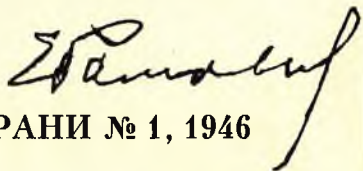
Каждый человек —
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть —
совершенствуется целое.

Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.

А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, —
Слову Правды.

Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.



ГРАНИ № 1, 1946